



Лауреат Гонкуровской премии  
2013 года



Пьер  
Леметр

До свидания  
там,  
наверху

Читайте книгу,  
смотрите фильм!

Азбука-бестселлер

Пьер Леметр

**До свидания там, наверху**

«Азбука-Аттикус»

2013

## **Леметр П.**

До свидания там, наверху / П. Леметр — «Азбука-Аттикус»,  
2013 — (Азбука-бестселлер)

«До свидания там, наверху» – новый роман Пьера Леметра, который можно было бы назвать «Живые и мертвые». Выжить на Первой мировой, длившейся долгих четыре года, – огромное счастье и огромное везение. Так почему герои романа «До свидания там, наверху», художник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим товарищам, а их несбыточной мечтой оказываются новые ботинки и ампула с морфином? Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их жизнями капитан Анри д’Олнэ-Прадель с легкостью зарабатывает миллионы на... гробах. Перед нами роман-фреска, роман-событие, увенчанный Гонкуровской премией, крупная литературная рыба на безрыбье последних лет.

## Содержание

Ноябрь 1918	6
1	6
2	16
3	19
4	23
5	29
6	34
7	45
8	49
9	58
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# Пьер Леметр

## До свидания там, наверху

*Паскалине*

*Моему сыну Виктору с любовью*

*Я встречу тебя на небесах, где Господь, надеюсь, соединит нас. До свидания там, наверху, моя дорогая супруга!*

*Последние слова, написанные Жаном Бланшиаром. 4 сентября 1914 г.*

Copyright © Editions Albin Michel – Paris 2013

© Д. Мудролюбова, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

## Ноябрь 1918

### 1

Все те, кто думал, что война скоро закончится, уже давно умерли. На войне, разумеется. Вот почему в октябре Альбер достаточно скептически воспринял слухи о Перемирии. Он доверял им не больше, чем распространявшимся вначале пропагандистским утверждениям о том, что пули бошей настолько мягкие, что, как перезрелые груши, расплющиваются о форму, заставляя французских солдат взвизгивать от смеха. За четыре года Альбер повидал целую кучу тех самых скончавшихся от смеха, получив немецкую пулю. Он, конечно, отдавал себе отчет, что отказ поверить в то, что Перемирие вот-вот наступит, сродни магической уловке: чем сильнее надеешься на мир, тем меньше веришь в перемены, которые его предвещают, – чтобы не сглазить. Однако волны вестей о грядущем Перемирии день ото дня становились все упорнее, и уже повсюду твердили, что войне, похоже, скоро конец. Даже печатались призывы – совсем уж маловероятные – демобилизовать старослужащих, которые уже несколько лет тянут лямку на фронте. Когда наконец перспектива Перемирия стала реальной, даже у самых закоренелых пессимистов забрезжила надежда выбраться живыми. В результате в наступление никто особенно не рвался. Говорили, что 163-му пехотному дивизиону предстоит попытаться переправиться через Маас. Кое-кто еще поговаривал о том, что надо расправиться с неприятелем, но в целом в низах, если смотреть со стороны Альбера и его товарищей, после победы союзников во Фландрии, освобождения Лилля, разгрома австрийков и капитуляции турок фанатизма сильно поубавилось, чего не скажешь об офицерах. Успешное наступление итальянских войск, взятие Турнэ англичанами, а Шатийона американцами... словом, было понятно, что лед тронулся. Многие войсковые части принялись намеренно тянуть с наступлением, четко обозначилось разделение на тех, кто, как Альбер, охотно дожидался бы конца войны, посиживая с сигаретой на вещмешке и строча письма домой, и тех, кто жаждал напоследок поквитаться с бошами. Демаркационная линия проходила аккуратно между офицерами и всеми остальными. Ну и чего тут нового? – думал Альбер. Начальники жаждут оттяпать у противника как можно больше территории, чтобы за столом переговоров выступать с позиции силы. Еще чуть-чуть, и они станут уверять вас, что лишние тридцать метров могут и впрямь изменить ход конфликта и погибнуть здесь и сейчас куда полезнее, чем накануне.

К этой категории и принадлежал лейтенант д'Олнэ-Прадель. Говоря о нем, все отбрасывали имя, фамилию Олнэ, частицу «де», а заодно и дефис и называли его попросту Прадель, знали, что ему это как нож по сердцу. Действовало безотказно, так как он считал делом чести не выказывать недовольства. Классовый рефлекс. Альбер его недолюбливал. Может, потому, что Прадель был красив. Высокий, стройный, элегантный, густые, очень темные выющиеся волосы, прямой нос, тонкие, изящно очерченные губы. И темно-синие глаза. На вкус Альбера, так отвратная рожа. При этом вечно сердитый вид. Есть такие нетерпеливые типы, что не признают умеренных скоростей: они либо мчатся во весь опор, либо тормозят, третьего не дано. Прадель наступал, выпятив плечо вперед, будто собирался раздвинуть мебель, он резко накидывался на собеседника и вдруг садился – его обычный ритм. Это было даже забавно: он со своей аристократической внешностью выглядел одновременно страшно цивилизованным и жутко брутальным – как и эта война. Может, как раз поэтому он отлично вписался в военный пейзаж. К тому же крепкий тип – гребля и теннис, точно.

Чего еще Альбер терпеть не мог в Праделе – так это волосы. Ими поросло все, даже фаланги пальцев, черные волоски торчали из воротничка рубашки, доходя до самого кадыка. В мирное время ему явно приходилось бриться несколько раз в день, чтобы выглядеть прилично. На некоторых женщин этот волосяной покров наверняка производил впечатление – самец, дикий, мужественный, испанистый. Даже на Сесиль ничего... Впрочем, и без Сесиль Альбер на дух не переносил лейтенанта Праделя. А главное, он ему не доверял. Потому что в душе Прадель был нападающим. Ну нравилось ему идти на штурм, в атаку и чтобы все ему покорялись.

С недавних пор лейтенант малость поутих. Видно, с приближением Перемирия его боевой дух резко сдал, подорвав патриотический порыв. Мысль о конце войны была способна dokonать лейтенанта Праделя.

Он выказывал признаки нетерпения, что внушало беспокойство. Его раздражал недостаток рвения у подчиненных. Прадель расхаживал по траншее, сообщая солдатам фронтовые сводки, но, сколько бы он ни вкладывал воодушевления, вещая, что мы раздавим врага и прикончим его последней пулеметной очередью, в ответ раздавалось лишь невнятное брюзжание, люди покорно кивали, потупившись. За этим стоял не просто страх смерти, а страх, что придется умереть сейчас. Погибнуть последним, думал Альбер, все равно что погибнуть первым – глупее не придумаешь.

Но именно это им и предстояло.

До сих пор в ожидании Перемирия все было относительно спокойно, и вдруг внезапно все пришло в движение. Сверху спустили приказ подобраться к бошам вплотную и поглядеть, что у них творится. Однако и без генеральских погон нетрудно было догадаться, что боши делают ровно то же, что и французы: ждут не дождутся конца войны. Так нет же, было велено убедиться в этом лично. Начиная с этого момента никто уже не мог восстановить точную последовательность событий.

Для выполнения рекогносцировки лейтенант Прадель отправил в разведку Луи Терье и Гастона Гризонье. Трудно сказать, почему именно их – первогодка и старика, может, чтобы соединить энергию и опыт. В любом случае и то и другое оказалось бесполезным, потому что жить посланным оставалось не больше получаса. По идее они не должны были забираться слишком далеко. Им предстояло углубиться на северо-восток метров на двести, в нескольких местах перекусить колючую проволоку, потом доползти до второго ряда проволочного заграждения, наскоро оглядеться и двигать назад, чтобы доложить, что все в порядке, тем более что заранее было ясно, что там и смотреть-то не на что. Терье и Гризонье, впрочем, не слишком опасались подобраться к неприятелю вплотную. Если они и обнаружат бошей, то, учитывая сложившуюся в последние дни ситуацию, те позволят им посмотреть и вернуться, – все ж какое-никакое развлечение. Только вот когда наши наблюдатели, согнувшись в три погибели, добрались до немецкой линии обороны, их подстрелили, как кроликов. Просвистели пули. Три. Затем воцарилась тишина; противник счел, что дело сделано. Наши было попытались разглядеть, что там стряслось, но так как Терье и Гризонье отклонились к северу, то нам не удалось засечь, где именно их подбили.

Солдаты вокруг Альбера затаили дыхание. Потом раздались крики. Сволочи! Чего еще ждать от этих бошей? грязные подонки! варвары! и все такое. К тому же погибли солдат-первогодок и «дед». Какая, в общем-то, разница, кто погиб, но всем казалось, что застрелили не просто двух французских солдат, а два символа. Короче, все пришли в ярость.

В следующие минуты артиллеристы из тыла с несвойственной им быстротой снарядами 75-го калибра жажнули по немецким оборонительным линиям (и откуда только узнали, что стряслось?).

И понеслось.

Немцы открыли ответный огонь. Французы без промедления подняли всех в атаку. Пора свести счеты с этими гадами! На календаре было 2 ноября 1918 года.

Кто ж знал, что не пройдет и десяти дней, как война будет окончена.

К тому же напали-то в День поминовения усопших. Даже если не придавать значения символам, а все же...

Снова в полной сбреу, подумал Альбер, готовясь лезть на эшафот (это лестница, по которой выбирались из траншеи, – понятна перспектива?), чтобы без оглядки ринуться на вражеские ряды. Парни, выстроившись друг за другом, вытянувшись как струна, нервно сглатывали слюну. Альберт стоял третьим в цепочке, вслед за Берри и молодым Перикуром, тот обернулся, будто хотел удостовериться, что все точно здесь. Их взгляды встретились. Перикур улыбнулся Альберу – будто мальчишка, собравшийся отколоть номер. Альбер попытался выдавить улыбку, но не смог. Перикур вернулся в строй. В ожидании сигнала к атаке в воздухе физически повисло напряжение. Французы, оскорбленные поведением бошей, теперь сосредоточились на овладевшей ими ярости. Над головами снаряды с обеих сторон прочерчивали небо, удары сотрясали землю даже в траншеях.

Альбер поглядел вдаль, высунувшись из-за плеча Берри. Лейтенант Прадель, стоя на приступке, в бинокль изучал вражеские ряды. Альбер снова встал в строй. Если бы не шум, он мог бы поразмыслить о том, что именно привлекло его внимание, но пронзительный свист не прекращался, пресекаемый лишь разрывами снарядов, сотрясавшими тело с головы до ног. Попробуй-ка сосредоточиться в таких условиях!

В данный момент парни застыли в ожидании сигнала к атаке. Стало быть, самое время приглядеться к Альберу.

Альбер Майяр, стройный молодой человек, малость флегматичный, скромный. Он был не слишком разговорчив, у него лучше ладилось с цифрами. До войны он служил кассиром в отделении банка «Унион паризьен». Работа ему не слишком нравилась, но он не увольнялся из-за матери. Как-никак единственный сын, а мадам Майяр обожала любых начальников. Подумать только, Альбер – директор банка! Ясное дело, она немедленно преисполнилась энтузиазма: уж Альбер («с его-то умом») не преминет добратся до самого верха служебной лестницы. Слепое обожание власти она унаследовала от отца, тот был помощником заместителя главы департамента в министерстве почты, и тамошняя административная иерархия казалась ему олицетворением мироустройства. Мадам Майяр любила всех начальников без исключения. Без различия их качеств и происхождения. У нее имелись фотографии Клемансо, Мораса, Пуанкаре, Жореса, Жоффра, Бриана... С тех пор как скончался ее супруг, возглавлявший бригаду облаченных в униформу музейных смотрителей Лувра, знаменитости доставляли ей незабываемые ощущения. Альбер, скажем прямо, не горел на работе, но не перечил матери – все же так с ней легче. И тем не менее он пытался строить собственные планы. Хотел уехать, мечтал о Тонкине, правда так, туманно. Во всяком случае, хотел оставить бухгалтерию и заняться чем-нибудь другим. Но он был не слишком скор, ему на все требовалось время. К тому же вскоре появилась Сесиль, он немедленно втюрился: глаза Сесиль, губы Сесиль, улыбка Сесиль и, само собой, грудь Сесиль, попка, о чем тут еще можно думать?!

В наши дни Альбер Майяр считался бы не слишком высоким – метр семьдесят три, – но в то время это было вполне. Девушки поглядывали на него. Особенно Сесиль. Ну в общем... Альбер долго пялился на Сесиль, и в результате – когда на тебя так смотрят, почти не сводя глаз, – она, естественно, заметила, что он существует, и в свою очередь посмотрела на него. Лицо у него было трогательное. Во время битвы на Сомме пуля оцарапала ему висок. Он здорово испугался, но в итоге остался лишь шрам в форме скобки, который оттянул глаз чуть в сторону – такой тип лица. Когда Альбер получил увольнение, очарованная Сесиль мечтательно погладила шрам кончиком указательного пальца, что вовсе не способствовало поднятию боевого духа. В детстве у Альбера было бледное, почти круглое личико, с тяжелыми веками, при-

дававшими ему вид печального Пьеро. Мадам Майяр, решив, что сын такой бледный оттого, что у него малокровие, отказывала себе в еде, чтобы кормить его хорошей говядиной. Альбер много раз пытался объяснить ей, что она заблуждается, но мать не так-то легко было переубедить, она находила все новые примеры и доводы, страх как не хотела признать, что была не права, даже в письмах пережевывала то, что случилось давным-давно. Ужасно утомительно. Поди знай, не потому ли Альбер, как началась война, сразу записался в добровольцы. Узнав об этом, мадам Майяр разохалась, но она так привыкла работать на публику, что было невозможно определить, что за этим кроется – тревога за сына или желание привлечь к себе внимание. Она вопила, рвала на себе волосы, впрочем быстро взяла себя в руки. Так как о войне у нее были самые расхожие представления, она тотчас прикинула, что Альбер («с его-то умом») вскорости отличится и его повысят; вот он в первых рядах идет в атаку. Она уже вообразила, что он совершает геройский поступок, его немедленно производят в офицеры, он становится капитаном, бригадиром, а там и генералом, на войне такое случается сплошь и рядом. Альбер, не вникая в ее речи, собирал чемодан.

С Сесиль все вышло совсем по-другому. Война ее не пугала. Во-первых, это «патриотический долг» (Альберт был удивлен, он ни разу не слышал этих слов из ее уст), и потом, на самом деле нет никаких причин страшиться войны, ведь это почти что формальность. Все так говорят.

У Альбера-то закрадывались некоторые сомнения, но Сесиль была сродни мадам Майяр – у нее имелись твердые представления. Ее послушать, так война продлится недолго. И в это Альбер почти что готов был поверить; Сесиль, с ее руками, нежным ротиком и всем прочим, могла заявить Альберту все, что угодно. Кто не знает Сесиль, тот вряд ли поймет, думал Альбер. Для нас с вами эта Сесиль всего лишь хорошенькая девушка. Но для него – совсем другое дело. Каждая клеточка ее тела состояла из особых молекул, ее дыхание источало особенный аромат. Глаза у нее были голубые, конечно, вам от этих глазок ни жарко ни холодно, но для Альбера это была пропасть, бездна. Или хоть взять ее губы – на миг поставьте себя на место нашего Альбера. С этих губ он срывал такие горячие и нежные поцелуи, что у него сводило живот и что-то взрывалось внутри, он ощущал, как ее слюна перетекает в него, он упивался, и эта страсть была способна творить такие чудеса, что Сесиль была уже не просто Сесиль. Это было... Так что пусть она себе утверждает, что с войной справятся в два счета, Альберу так хотелось, чтобы в два счета Сесиль справилась и с ним...

Теперь-то он, ясное дело, смотрел на вещи совсем иначе. Он понимал, что война – всего лишь гигантская лотерея, где вместо шариков крутятся настоящие пули, и уцелеть в этой войне все четыре года и есть настоящее чудо.

А оказаться похороненным заживо, когда до конца войны рукой подать, – это уж точно вишенка на торте.

А между тем дело шло именно к этому.

Погребен заживо. Альбертик.

Сам виноват, что не повезло, сказала бы его матушка.

Лейтенант Прадель повернулся к своему подразделению, его взгляд уперся в первую шеренгу, стоявшие справа и слева смотрели на него как на мессию. Лейтенант кивнул и набрал воздуха в грудь.

Несколько минут спустя Альбер, пригнувшись, бежал в кромешном аду, ныряя под артиллерийскими снарядами и свистящими пулями, изо всех сил сжимая винтовку, грузный шаг, голова втянута в плечи. Солдатские башмаки вязли в земле, так как в последние дни шел непрерывный дождь. Одни рядом с ним орали как сумасшедшие, чтобы захмелеть и расхрабриться. Другие держались так же, как он, – сосредоточенно, живот скрутило, в горле пересохло. Все бросились на врага, движимые последней вспышкой гнева, жаждой мести. Это, наверное, срикошетило объявленное Перемирие. Людям довелось пережить столько, что теперь, в самом

конце войны, когда погибло множество товарищей, а столько врагов остались в живых, им, наоборот, хотелось устроить бойню и покончить со всем этим раз и навсегда. Они разили не глядя.

Даже Альбер, с ужасом сознававший близость смерти, рубанул бы по первому встречному. Но все пошло иначе. Во-первых, ему пришлось взять правее, чем нужно. Поначалу он бежал в направлении, указанном лейтенантом, но под свистом снарядов и пуль солдаты поневоле метались из стороны в сторону. К тому же бежавшего впереди Перикюра подстрелили, и он рухнул практически под ноги Альберу, тот с трудом перепрыгнул через него. Потеряв равновесие, Альбер пробежал по инерции несколько метров и наткнулся на тело «деда» Гризонье, чья неожиданная гибель дала толчок этой последней бойне.

Несмотря на свистевшие вокруг пули, Альбер, наткнувшись на лежащего, застыл на месте.

На самом деле он узнал его френч, потому что Гризонье всегда носил эту красную штучку в петлице – мой «орден Почетного легиона», приговаривал он. Гризонье большим умом не отличался. Тактом тоже, но он был славным парнем, и все его обожали. Это был он, точно он. Его большая голова как бы вдавилась в грязь, а тело рухнуло как-то наперекосьяк. Совсем рядом Альбер заметил юнца Луи Терье. Тот тоже лежал, зарывшись в грязь, скорчившись, как ребенок. Как трогательно – умереть в таком возрасте и в подобной позе...

Альбер не понял, что на него нашло; мелькнула интуитивная догадка, он схватил Гризонье за плечо и тряхнул. Мертвец тяжело качнулся и перевалился на живот. До него дошло не сразу – до Альбера то есть. Потом его как резануло: нельзя умереть, получив две пули в спину, когда идешь на врага.

Он перешагнул через труп и сделал несколько шагов, по-прежнему пригибаясь, поди знай зачем: какая разница, согнулись вы или выпрямились во весь рост, – пули вас так или иначе достанут, но люди рефлекторно стремятся как можно сильнее уменьшить площадь поражения, будто всю войну провели, страшась гнева Небес. И вот Альбер смотрит на тело малыша Луи. Тот прижал ко рту стиснутые кулаки. С ума сойти, как по-детски он выглядит в свои двадцать два! Лица Альбер не видит, оно заляпано грязью. Он видит лишь спину Луи.

Пуля. Если прибавить две пули, попавшие в «деда», то это уже три. И выстрелов было три.

Альбер встает, все еще ошарашенный этим открытием. Тем, что это означает. Спустя несколько дней после объявления Перемирия парни теперь не так уж рвались пощипать бошей, единственный способ подтолкнуть их идти в атаку – это вызвать взрыв возмущения: так где, стало быть, находился Прадель, когда эти парни получили пулю в спину?

О боже!..

Ошеломленный этим выводом, Альбер обернулся и тотчас в нескольких метрах увидел лейтенанта Праделя, который стремительно, насколько позволяла амуниция, мчался к нему.

Он решительно двигается прямо на него, не сводя с него глаз. Альбер прикован к нему, особенно к этому светлому, направленному в упор взгляду. Все сходится. В его голове разом вспыхивает вся картина.

И в этот миг Альбер понимает, что это смерть.

Он пытается сделать несколько шагов, но не может сдвинуться с места: ни мозг, ни тело ему не повинуются. Все разворачивается слишком быстро. Я ведь вам говорил, что у него, у Альбера то есть, не слишком хорошая реакция. В два счета Прадель набросился на него. Рядом была широченная яма – воронка от снаряда. Лейтенант плечом заехал Альберу в грудь, перебив дыхание. Альбер оступился, попытался удержаться и опрокинулся в яму, раскинув руки.

И пока он опускался в грязь, перед ним, медленно удаляясь, проплыло лицо Праделя, теперь Альбер понял сквозящие в его взгляде браваду, уверенность и дерзкий вызов.

Приземлившись на дно воронки, Альбер перекатился через себя, вещмешок чуть смягчил падение, ногой он зацепился за винтовку, сумел подняться и тотчас вжался в крутой склон, будто прислонился к дверному косяку, боясь, что его услышат или застигнут врасплох.

Встав поустойчивее (суглинок был мыльно-скользкий), он попытался восстановить дыхание. Мысли, обрывочные и беспорядочные, то и дело возвращались к ледяному взгляду лейтенанта Праделя. Там, наверху, сражение, похоже, охватило всю местность. Белесое небо было усеяно гирляндами огней. Его озаряли синие и оранжевые светящиеся трассеры. Снаряды с обеих сторон падали обломным дождем, с плотным непрерывным грохотом, свист и взрывы сливались в сплошной гром. Альбер посмотрел наверх. Там, нависая над краем воронки, как ангел смерти, вырисовывался высокий силуэт лейтенанта Праделя.

Альберу казалось, что падение его длилось ужасно долго. Но на самом деле их с лейтенантом разделяет всего-навсего метра два. Но есть существенное различие. Лейтенант Прадель стоит наверху, широко расставив ноги. За ним мерцают огни сражения. Он спокойно смотрит на дно ямы, не двигаясь с места. Ослабившись, он разглядывает Альбера. Он и пальцем не пошевелит, чтобы вытащить его оттуда. Альбер, задыхаясь, с бешено бьющимся сердцем, схватил винтовку, шатнулся, едва удержавшись на ногах, вскинул приклад к плечу, но, едва навел прицел на край обрыва, Прадель исчез. Никого не было.

Альбер остался один.

Он опустил винтовку и попытался перевести дух. Следовало без промедления выбраться из воронки, бежать за Праделем, выстрелить ему в спину, вцепиться в горло. Или догнать остальных, заговорить с ними, закричать, сделать что-нибудь – по правде сказать, он не знал что. Но он почувствовал страшную усталость. Он вдруг обессилел. Просто все получилось так глупо. Казалось, что он уже прибыл и поставил чемодан в прихожей. А теперь даже если бы он захотел выбраться наверх, то не смог бы. Ведь оставалось всего ничего, и с войной было бы покончено, и надо же – оказаться на дне ямы. Он сполз так, что почти опустился на корточки, и обхватил голову руками. Альбер попытался здраво осмыслить положение, но совершенно пал духом. Растаял. Как фруктовое мороженое. Сесиль обожала мороженое – лимонное, от которого у нее сводило зубы, она морщилась, как крохотный котенок, а ему хотелось стиснуть этого котенка. Кстати, Сесиль... когда там пришло от нее последнее письмо? Это тоже его подкосило. Он никому не говорил об этом: ее письма становились все короче. Так как война шла к концу, Сесиль писала ему, будто все уже и впрямь закончилось, так какой теперь смысл надрываться. С теми, у кого были нормальные семьи, все обстояло по-другому, этим регулярно писали, а у него была только Сесиль... Ну, мать тоже, но та доставала его почище других. Письма матери ничем не отличались от ее прежних наставлений, будто она там, в тылу, что-то понимала... И все это подтачивало Альбера, грызло изнутри, а еще погибшие друзья, о которых он пытался не вспоминать. Ему не раз случалось падать духом, но тут это было совсем некстати. Именно в тот момент, когда необходимо собрать все силы. Он не смог бы объяснить, в чем дело, но у него внутри будто что-то разладилось. Он ощущал это где-то под ложечкой. Казалось, его накрыла громадная усталость, тяжелая как камень. Упорное нежелание двигаться, что-то бесконечно пассивное и безмятежное. Будто впереди замаячил какой-то итог. Отправляясь в армию, он пытался представить себе войну и, как многие, втайне думал, что, коли придется совсем туго, он просто прикинется мертвым. Он рухнет навзничь или даже, заботясь о правдоподобии, вскрикнет, сделав вид, что пуля попала прямо в сердце. Дальше останется лишь лежать и ждать, когда все стихнет. С приходом ночи доберется до тела другого товарища, которого в самом деле убили, и заберет его документы. Потом будет часами тащиться, припадая к земле, останавливаясь и задерживая дыхание каждый раз, когда в ночи

послышатся голоса. Соблюдая тысячи предосторожностей, он будет продвигаться вперед, пока не отыщет дорогу на север (или на юг, тут возможны варианты). По пути он досконально усвоит все, что составляет его новую личность. Потом наткнется на отставшую часть, которую возглавляет старший капрал, здоровый парень с... Короче говоря, для банковского клерка Альбер был настроен достаточно романтично. Тут явно сказались фантастические представления мадам Майяр. Поначалу многие разделяли это сентиментальное видение войны. Альбер воображал стройные красно-синие шеренги солдат, затянутых в красивую форму, которые надвигаются на охваченную паникой армию противника. Солдаты держат перед собой сверкающие штыки, а дымящиеся следы редких снарядов знаменуют поражение врага. По сути дела, Альбер отправлялся на войну в духе Стендаля, а угодил на прозаическую варварскую бойню, выдававшую по тысяче трупов в день на протяжении пятидесяти месяцев. Чтобы понять, как выглядит эта бойня, было достаточно чуть приподняться и окинуть взглядом, что творится вокруг его воронки: голая, без единой травинки, земля, изрешеченная тысячами ям от снарядов, усеянная сотнями гниющих тел, зловоние от которых весь день пробирает вас до печени. Едва стихает обстрел, здоровенные крысы величиной с зайца очумело перескакивают от одного трупа к другому, сгоняя мух с останков, уже початых червями.

Альберу-то все это было доподлинно известно, ведь ему довелось быть санитаром, и когда все раненые, тихо стонущие или вопящие, были уже вынесены, он собирал останки – любых покойников на любой стадии разложения. И уж по этой части он был мастак. Хотя для человека чувствительного работенка та еще.

К тому же он страдал легкой клаустрофобией – а это уж верх невезения для того, кто через несколько мгновений будет погребен заживо.

Еще ребенком, он при мысли, что мама сейчас уйдет и закроет за собой дверь, ощущал, как к горлу подступает тошнота. Он помалкивал, смиренно лежа в постели, ему не хотелось огорчать мать, которая вечно твердила, что на ее долю и так выпала куча страданий. Но ночь, тьма наводили на него страх. И даже гораздо позднее, когда они с Сесиль возились под одеялом, стоило им накрыться с головой, как у него пресекалось дыхание и начиналась паника. К тому же Сесиль порой обхватывала его ногами и не выпускала. Хочу посмотреть, со смехом говорила она. Короче, смерть от удушья Альбера пугала больше всего. По счастью, он не понимал, что по сравнению с уготованной ему участью оказаться меж шелковистых ляжек Сесиль, даже если ты накрыт с головой, – это райское блаженство. А знай Альбер, что ему предстоит, так предпочел бы помереть прямо тогда. Что очень кстати, так как именно это, похоже, и произойдет. Но не сразу. Чуть позже, когда в нескольких метрах от его воронки разорвется снаряд, взметнув земляную волну высокой стеной, которая обрушится и полностью погребет его под собой; жить ему останется совсем недолго, но этих мгновений будет достаточно, чтобы осознать, что именно с ним происходит. И Альбера охватит дикое желание выжить, как, должно быть, оно охватывает лабораторных крыс, когда их хватают сзади за лапки, или свиней, которых вот-вот прирежут, или коров на бойне, словом, некий первобытный рефлекс... Нужно только чуток подождать. Подождать, когда легкие от нехватки воздуха побелеют, тело изнемоет в отчаянной попытке освободиться, а голова вот-вот взорвется, когда мозг охватит безумие, когда... но не будем предвосхищать события.

Альбер оборачивается, смотрит наверх в последний раз: в общем-то, не слишком высоко. Просто ему не достать. Он пытается собраться с силами, думать лишь о том, как подняться, выбраться из ямы. Он сгребает вещмешок, винтовку, хватается за что-то и, несмотря на усталость, начинает карабкаться по склону воронки. Это нелегко. Ступни скользят, скользят по хлипкой глинистой почве, не находя опоры, напрасно он цепляется за землю, изо всех сил стремится вытоптать ступеньку под ногами; ничего не выходит, он снова падает.

Альбер отбросил винтовку и вещмешок. Даже если бы пришлось полностью раздеться, его бы это не остановило. Он вжался всем телом в стенку воронки и пополз наверх; он двигался

как белка в колесе, вгрызаясь в пустоту и вновь сползал вниз. Он тяжело дышал, стонал, потом завыл. Поддался панике. Почувствовав, как слезы подступают к горлу, ударил кулаком по глинистому склону. Край обрыва ведь совсем близко, вот дерьмо! Подняв руку, он почти может до него дотянуться, но подошвы соскальзывают, и все отвоеванные сантиметры тут же снова теряются. Нужно выбраться из этой чертовой дыры! – крикнул он. Он сможет. Погибнуть – да, когда-нибудь, но не сейчас, это было бы слишком глупо. Он выберется и достанет, да, достанет этого лейтенанта Праделя; если потребуется, дойдет до линии бошей, найдет его и убьет. При мысли о том, что он прикончит этого подонка, Альбер приободрился.

Потом на миг застыл, с грустью осознав: боши вот уже четыре года как пытаются его прикончить и у них ничего не вышло, а французскому офицеру это почти удалось.

Черт возьми!

Альбер присел и открыл вещмешок. Вытряхнул все, поставил фляжку между ног; надо накрыть плащом скользкую стену воронки, воткнуть в землю все, что подвернется под руку, чтобы создать опору; он обернулся и в этот самый момент услышал, как в нескольких десятках метров от него взорвался снаряд. В тревоге он задрал голову. На протяжении четырех лет он научился отличать семидесятипятимиллиметровые снаряды от девяностопятимиллиметровых, стопятимиллиметровые от двадцати... Насчет этого он не мог решить. Должно быть, оттого, что он находился на дне воронки или же из-за расстояния, звук взрыва был странным, он показался незнакомым – прозвучал глуше и одновременно мягче, чем другие, сдавленный рокочущий звук ввинтился в землю сверхмощным буром. В мозгу Альбера успело мелькнуть недоумение. Взрыв неимоверно сильный. Земля в сокрушительной конвульсии всколыхнулась со страшным мрачным гулом, а затем взмыла ввысь. Вулкан. Пошатнувшись от подземного толчка, Альбер удивленно посмотрел вверх, так как вокруг все разом померкло. И тут он увидел, почти в замедленном движении, как небо в десятке метров над головой заслоняет гигантская волна бурой земли, ее зыбкий извилистый гребень склоняется в его сторону и начинает ниспадать, стремясь окатить его. Неминуемому падению волны предшествовал светлый, почти лениво замедленный град щебенки, комков земли и всяческих осколков. Альбер свернулся клубком и задержал дыхание. Это было совсем не то, что следовало делать, нужно, напротив, вытянуться во весь рост, спросите любого покойника, которого засыпало. В течение двух-трех застывших секунд Альбер глядит на земляную завесу, которая плывет по небу, будто гадая, где и в какой момент ей обрушиться.

Еще миг – и это покрывало рухнет и накроет его.

Вообще, Альбер, представьте себе, напоминал портрет работы Тинторетто. Болезненно заостренные черты, чересчур четко прорисованные губы, выступающий подбородок, под глазами широкие круги, которые подчеркивали выгнутые дугой очень темные брови. Но в этот миг, со взглядом, устремленным в небо, где он видит надвигающуюся смерть, он скорее походил на святого Себастьяна. Лицо его резко осунулось, наморщилось от боли и страха, вроде как мольбы, тем более бесполезной, что Альбер в жизни ни во что не верил, а с его нынешней невезухой вряд ли поверит. Даже если бы у него оставалось время.

Покрывало опустилось на него с чудовищным треском. Вы думаете, Альбер помрет и на этом все? Но вышло куда хуже. Сначала на него градом падали камни и щебенка, потом обрушилась земля, накрывая его все плотнее. Тело Альбера прижало к земле.

По мере того как слой земли над ним нарастал, его обездвиженное тело сдавливало, спрессовывало.

Свет померк.

Все остановилось.

В мире установился новый порядок, в нем больше не было Сесиль.

Альбера, перед тем как его охватила паника, первым делом поразило то, что шум войны стих как отрезало. Мир внезапно заткнулся, будто Господь дал свисток, что наступил конец

света. Конечно, если бы Альбер слегка поразмыслил, он бы понял, что ничего не остановилось и звуки до него доходят, только как сквозь фильтр, приглушенные той массой земли, что окружила его и накрыла, и оттого почти не слышны. Но пока что Альберу недосуг вслушиваться в шумы, чтобы понять, продолжается ли война, потому что для него она как раз на этом заканчивалась.

Как только грохот постепенно стих, до Альбера дошло. Я под землей, подумал он; мысль сама по себе довольно абстрактная. Но стоило ему подумать: я погребен заживо, все стало до ужаса конкретным.

И как только он осознал масштаб бедствия и какая смерть его ожидает, когда он понял, что умрет от удушья, то впал в безумие, полное безумие. У него в голове все смешалось, он заревел, и этот бесполезный крик отнял тот малый остаток кислорода, который у него еще оставался. Я погребен, твердил он, и эта жуткая реальность до такой степени поглотила его сознание, что он даже не попытался снова открыть глаза. Он только дернулся туда-сюда. Остаток сил, взметенный в нем паникой, превратился в мышечное усилие. Барахтаясь, он растратил массу энергии. И все зазря.

Внезапно он замер.

Потому что понял, что может двигать руками. Самую малость, но все же может. Он задержал дыхание. Глинистая, пропитанная водой земля, падая, образовала нечто вроде раковины там, где были его руки, плечи, затылок. В мире, где его сковало, ему было отпущено несколько сантиметров здесь и там. На самом деле земли над ним не так уж много. Это Альбер понимал. Ну, может, сантиметров сорок. Но лежал-то он в самом низу, и придавившего его слоя земли было достаточно, чтобы он был парализован, обездвижен, обречен.

Повсюду вокруг него дрожала земля. Там, наверху, продолжалась война, снаряды по-прежнему вонзались в землю, сотрясая ее.

Альбер боязливо приоткрыл глаза. Да, это ночь, но не полная тьма. В нее просачивались микроскопические белесые частицы света. Свет был крайне слабый, чуть-чуть жизни.

Он старался делать мелкие вдохи. Раздвинул на несколько сантиметров локти, чуть передвинул ступни, чем уплотнил землю с того конца. С тысячей предосторожностей, борясь с подступающей паникой, попытался высвободить лицо, чтобы было легче дышать. Земляная глыба тотчас шевельнулась, словно лопнул пузырь. Мгновенно сработал рефлекс: все мышцы напряглись, а тело скорчилось. Но за этим ничего не последовало. Сколько времени он провел в этом шатком равновесии, пока воздуха становилось все меньше?.. Он представлял ожидающую его смерть, прикидывая, что произойдет, когда он, тараща глаза и силясь сделать вдох, лишится кислорода, а сосуды начнут один за другим взрываться, как шарики? Миллиметр за миллиметром, пытаюсь дышать как можно реже, стараясь не думать, не видеть себя со стороны, он подвинул руку, нащупывая, что там рядом. И тут пальцы его на что-то наткнулись, просачивавшийся сквозь толщу земли белесый свет, пусть и чуть сгустившийся, не позволял разглядеть, что там. Пальцы коснулись чего-то мягкого, не земли и не глины, это было нечто почти шелковистое, чуть шероховатое.

Он не сразу понял, что это.

Чуть-чуть освоившись, он прямо напротив лица различил гигантские губы, по которым стекала клейкая жидкость, громадные желтые зубы, синеватые растекшиеся глаза...

Это была голова лошади, огромная, отвратительная, чудовищная.

Не сдержавшись, Альбер резко отпрянул, ударившись макушкой в стенку раковины. Земля дрогнула, засыпав ему шею; пытаюсь защититься, он вжал голову в плечи, застыл и затаил дыхание. Выждал несколько секунд.

Снаряд, пробив почву, обнажил одну из бесчисленных мертвых кляч, разлагавшихся на поле брани, – так конская голова оказалась рядом с Альбером. И вот они лежат лицом к лицу, молодой человек и мертвая лошадь, чуть не целуясь. Обвал позволил Альберу высвободить

руки, но тяжесть земли столь велика, что его грудная клетка сжалась. Альбер снова сделал несколько прерывистых вдохов, легкие уже не выдерживали. Ему удалось сдержать подступившие к горлу слезы. Он сказал себе, что заплакать – значит смириться со смертью.

Лучше уж не сопротивляться, теперь уж недолго осталось.

Неправда, что, мол, в момент смерти в один ослепительный миг проходит перед взором вся жизнь. Отдельные картинки – это да. Вдобавок давние. Лицо отца виделось так ясно и отчетливо, что Альберу показалось, что тот здесь, под землей, вместе с ним. Видно, им суждено вновь встретиться. Он увидел отца совсем молодым, будто тому столько же лет, как Альберу. Тридцать с хвостиком, вся разница в этом довеске. На нем униформа служителя музея, усы нафабрены, строгий вид, как на снимке, что стоит на буфете. Альберу не хватает воздуха. Легким больно, начались конвульсии. Альбер вновь пытается отыскать решение. Но ничего не поделаешь, он в смятении, страх смерти сковывает его изнутри. Из глаз непроизвольно потекли слезы. Мадам Майяр вперила в него укоризненный взгляд: ну точно, этот Альбер так и останется недотепой, только подумайте, угодить в яму, здравствуйте пожалуйста, погибнуть в самом конце войны – глупо, впрочем ладно, это еще куда ни шло, но умереть заваленным землей, иными словами, как покойник! Это уж точно мог только Альбер, вечно у него все не как у людей. Как бы там ни было, что бы вышло из этого мальчишка, если бы он не погиб на войне? Мадам Майяр наконец улыбается. Все не так плохо, со смертью Альбера теперь в семье появится хоть один герой!

Лицо Альбера синее, в висках в диком ритме пульсирует кровь, кровеносные сосуды, кажется, вот-вот лопнут. Он зовет Сесиль, ему хочется, чтобы она обхватила его ногами, стиснув как можно сильнее, но черты Сесиль расплываются, она слишком далеко отсюда, большее всего, что он не видит ее сейчас, что она не пришла с ним попрощаться. Осталось только ее имя, Сесиль, ведь в мире, куда он погружается, тел больше нет, есть лишь слова. Ему хочется умолять, чтобы она пошла с ним, ему чудовищно страшно умирать. Но все бесполезно, он умрет один, без нее.

Так до свидания, моя Сесиль, до свидания там, наверху, через много лет.

Потом имя Сесиль тоже исчезает, его сменяет лицо лейтенанта Праделя с его невыносимой улыбкой.

Альбер беспорядочно дергается. Легким достается все меньше воздуха, со свистом он силится сделать вдох. Он кашляет, втягивает живот. Воздуха нет.

Схватив лошадиную голову, он касается осклизлых бабин, расплзающихся под его пальцами; вцепившись в большие желтые зубы, он нечеловеческим усилием растягивает челюсти, исторгающие смрадное дуновение, которым Альбер до отказа наполняет легкие. Так ему удастся выиграть еще несколько секунд жизни, желудок сводит конвульсия, его рвет, тело вновь сотрясает дрожь, он пытается повернуться, чтобы урвать толику кислорода, но тщетно.

Земля такая тяжелая, света почти нет, только сотрясается почва под ударами снарядов, продолжающих градом сыпаться там, наверху, а после все исчезает. Ничего нет. Только хрип.

Потом возникает ощущение полного покоя. Он закрывает глаза.

Ему совсем плохо, сердце обрывается, разум гаснет, он погружается в темноту.

Солдат Альбер Майяр умер.

## 2

Лейтенант д'Олнэ-Прадель, человек решительный, дикий и примитивный, бежал по полю боя к вражеским траншеям с решимостью быка. Это абсолютное бесстрашие впечатляло. На самом деле он был совсем не так мужествен, как могло показаться. Прадель не то чтобы особо геройствовал, просто он довольно рано проникся уверенностью, что если ему и суждено погибнуть, то не здесь (точнее, что «ему не суждено здесь погибнуть»). Он был убежден: эта война должна не убить его, а предоставить ему новые возможности. Его дикая решимость при этой внезапной атаке на высоту 113, разумеется, была продиктована тем, что его ненависть к немцам превосходила все мыслимые пределы – почти метафизическим образом, но также и тем, что все шло к концу и у него оставалось совсем мало времени, чтобы воспользоваться возможностями, которые такой отличный военный конфликт мог предоставить таким, как он.

Альбер и все прочие сразу почуяли это: Прадель был типичным мелкопоместным дворянчиком, разорившимся в пух и прах. Три последних поколения Олнэ-Праделей совершенно исчерпали семейное состояние серией неудач на бирже и банкротств. От прежних славных завоеваний предков осталось лишь фамильное поместье Сальвьер, пришедшее в упадок, престиж старинного имени, пара дальних родственников по восходящей линии, непрочные связи и жадное, иступленное стремление вновь обрести свое место в мире. Шаткость своего положения Анри Прадель переживал как несправедливость судьбы, а стремление вновь занять подobaющее место в аристократической табели о рангах являлось краеугольным пунктом его программы, он был просто одержим этим и готов все принести в жертву. Его отец выстрелил себе в сердце в провинциальной гостинице, после того как спустил все, что у него еще оставалось. По не слишком достоверной семейной легенде, его мать год спустя умерла от горя. Лейтенант, у которого не было ни сестер, ни братьев, оказался последним в роду, и это вымирание рода будило в нем жажду неотложных действий. После него никого не останется. Из-за безудержного мотовства отца, увязавшего все глубже, у сына давно окрепло убеждение, что возрождение семьи целиком ляжет на его, Анри, плечи, он был убежден, что у него достанет и воли, и способностей, чтобы этого достичь.

Добавьте к этому то, что он был довольно хорош собой. Но только, разумеется, если вам по вкусу красота, лишенная воображения, но все же женщины желали его, а мужчины завидовали – на этот счет трудно ошибиться. Любой вам подтвердит, что при таких физических данных и благородном имени единственное, чего не хватает, – это состояния. Лейтенант Прадель всецело разделял это мнение, в этом и заключался его единственный план.

Теперь вам понятно, почему он затратил столько трудов, чтобы осуществить атаку, которой так жаждал генерал Морье? Для Генерального штаба высота 113, эта крошечная точка на карте, была прыщом на ровном месте, который каждый божий день досаждал вам, вы невзлюбили этот прыщ с первого взгляда, и тут уж ничего не поделаешь.

Лейтенант Прадель не был одержим подобной навязчивой идеей, но ничуть не меньше генерала жаждал взять эту высоту 113, поскольку находился на нижней ступеньке служебной лестницы, а война шла к концу, через несколько недель о повышении можно уже забыть. Дослужиться до лейтенанта за три года – это было неплохо. А теперь блестящий ход – и в дамки: демобилизация в чине капитана.

Прадель был вполне доволен собой. Чтобы побудить солдат броситься на штурм высоты 113, следовало убедить их в том, что боши хладнокровно прикончили двоих товарищей, тогда в них точно проснется яростное желание отомстить. Поистине гениальное решение.

Отдав приказ наступать, он поручил младшему унтер-офицеру возглавить атаку. Сам же задержался, мол, надо уладить небольшое дело, чтобы затем присоединиться к остальным. Потом он ринется на противника, перегоняя всех благодаря своему стремительному и легкому спортивному бегу, доберется до вражеских позиций в числе первых и укокошит столько бошей, сколько отпустит ему Господь.

Едва прозвучал сигнал и все пошли в наступление, Прадель изрядно сместился вправо, чтобы помешать солдатам отклониться в нежелательном направлении. У него мигом вскипела кровь, когда он увидел, как этот тип – как же зовут этого парня с грустным лицом, еще все время кажется, что у него глаза на мокром месте, ага, Майяр! – вдруг остановился там, на правом фланге. Интересно, каким образом, выскочив из траншеи, этот кретин добрался дотуда?..

Прадель видел, как тот застыл на месте, потом отступил назад, опустился на колени и стал переворачивать тело Гризонье. Именно на этот труп Прадель посматривал с самого начала атаки, поскольку собирался как можно скорее избавиться от него, именно затем он и остался среди замыкающих. Для пушного спокойствия.

И вот извольте радоваться: этот придурок остановился во время наступления и теперь глазееет на тела – старослужащего и новобранца.

Прадель тотчас бросился к нему, говорю же, чисто бык! Альбер Майяр уже поднялся. Он был явно потрясен своим открытием. Увидев несущегося на него Праделя, он понял, что сейчас произойдет, и попытался бежать. Но страх стимулировал его не так эффективно, как ярость лейтенанта. Тем временем Прадель был уже рядом, он врезался плечом в грудь Альбера, и тот упал прямо в воронку от снаряда, скатившись на самое дно. Ну, вообще-то, яма была глубиной метра два, не больше, но выбраться оттуда будет не так-то легко, придется попотеть, а Прадель тем временем успеет справиться с проблемой.

А после уже и объяснять ничего не придется, так как уже не будет самой проблемы.

Прадель встал на краю воронки; глядя, как Альбер барахтается на дне, он колебался, какое избрать решение, но потом успокоился, сообразив, что времени у него предостаточно. Вернется позже. Он отвернулся, отступив на несколько метров.

Ветеран Гризонье лежал с упрямым выражением лица. Преимущество нового положения было в том, что Майяр, перевернув тело, приблизил его к юному Луи Терье, что облегчало задачу. Прадель оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто на него не смотрит, еще раз подумав: ну и резня! Тут-то ему стало ясно, что атака дорого обойдется личному составу. Но это война, и здесь не место философии! Лейтенант Прадель дернул за кольцо ручной гранаты и не спеша опустил ее между двумя трупами. Успев отойти метров на тридцать и укрыться в безопасном месте, он зажал уши и увидел, как взрыв вдребезги разнес тела двух мертвых солдат.

На Первой мировой стало двумя убитыми меньше.

И двумя без вести пропавшими больше.

Теперь пора заняться этим недоумком, там, в воронке. Прадель достал вторую гранату. Он знал, как действовать, два месяца назад он собрал полтора десятка сдавшихся в плен бошей, выстроил их в круг, пленные недоуменно переглядывались, никто ничего не понимал. Одним движением он бросил гранату на середину круга, через две секунды раздался взрыв. Мастерская работа. Как-никак четыре года тренировки на штрафные броски. О точности и говорить не приходится. Пока до этих типов дошло, что происходит, они были уже на полпути к Валгалле. Пусть эти сволочи теперь потискают валькирий.

Граната была последняя. После будет нечем атаковать вражеские траншеи. Жаль, но что поделаешь.

В тот самый момент рванул снаряд, громадный земляной столб взметнулся и осел. Прадель привстал на цыпочки, всматриваясь. Воронку полностью засыпало!

Тютелька в тютельку. Парень на дне. Ну и придурок!

А Прадель к тому же сэкономил гранату.

Не теряя времени, он вновь рванул к немецким траншеям. Вперед, пора потолковать с бошами. Вручить им отличный прощальный подарок.

### 3

Перикура подбили на бегу. Пуля раздробила ему ногу. Он со звериным ревом рухнул в грязь, боль была невыносимой. Он дергался из стороны в сторону, не переставая кричать, он стиснул бедро руками, а так как ноги ему не было видно, то он перепугался, что ее просто оторвало снарядом. Перикур сделал отчаянную попытку приподняться, и это ему удалось; несмотря на страшную дергающую боль, он вздохнул с облегчением: нога цела. Он видел свою ступню, рана, видимо, была ниже колена. Из раны хлестала кровь. Он попробовал потихоньку пошевелить ступней, было невыносимо больно, но нога двигалась. Несмотря на гул, свист пуль и шрапнель, он подумал, что все же нога цела. Ему полегчало, ему совершенно не улыбалось ковылять на одной ноге.

Его порой называли Малыш Перикур, играя на контрасте, так как для парня, родившегося в 1895 году, он был чрезвычайно высоким – метр восемьдесят три, подумать только! Впрочем, при таком росте легко показаться тощим. Он вытянулся уже в пятнадцать лет.

Товарищи по школе называли его великаном, что звучало не всегда доброжелательно: в школе его недолюбливали.

Эдуар Перикур был из породы везунчиков.

В тех заведениях, где он учился, все было ему под стать – папенькины сынки, с которыми не может случиться ничего худого; они входят в жизнь с кучей предрассудков и верой в себя, уходящей корнями к поколениям состоятельных предков. У Эдуара это, правда, проходило не так гладко, как у прочих, потому что он – в довершение – был еще и удачлив. А ведь простить можно все – богатство, талант, но не везение, нет, это уж чересчур несправедливо.

На самом деле в основе всего лежал превосходно развитый инстинкт самосохранения. Когда становилось слишком опасно, когда события приобретали угрожающий поворот, Перикура словно что-то предупреждало об этом, будто у него была внутренняя антенна, и он делал все необходимое, чтобы выбыть из игры так, чтобы его не слишком потрепало. Разумеется, 2 ноября 1918 года, глядя на Эдуара Перикура, распластанного в грязном месиве с разможенной ногой, можно было бы сделать вывод, что удача отвернулась от него. На самом деле это не совсем так, нет, потому что как раз ногу-то ему удастся сохранить. Будет прихрамывать до конца дней, зато на своих двоих.

Он быстро снял с себя ремень и наложил жгут, стянув его как можно туго, чтобы остановить кровотечение. Потом, истощенный этим усилием, расслабился и вытянулся. Боль немного утихла. Придется остаться здесь, положение незавидное. Есть риск, что попаданием снаряда тебя развеет в пыль или еще что похуже... Расхожая картинка того времени: ночью немцы выходят из траншей и добивают раненых ножами.

Чтобы расслабить мышцы, Эдуар запрокинул голову прямо в грязь. Затылку стало прохладнее. Теперь происходящее сзади него виделось вверх ногами. Будто он разлегся в тени деревьев где-нибудь за городом. С девушкой. Но с девушками он там не бывал. Знался в основном с девицами из борделей, расположенных по соседству с Академией изящных искусств.

Впрочем, особо углубиться в воспоминания ему не удалось, так как в глаза бросилось странное поведение лейтенанта Праделя. Когда несколько мгновений назад Эдуар, упав, катался по земле от боли, а потом накладывал жгут, все остальные бежали к немецкой линии обороны, а тут вдруг лейтенант Прадель преспокойно стоит в десяти метрах позади него, как будто война временно прекратилась.

Эдуар видел Праделя издали, в профиль и вверх ногами. Держа руки на ремне, тот смотрел себе под ноги. Будто энтомолог, склонившийся над муравейником. Совершенно невозмутимый, несмотря на весь этот грохот. Величественно-бесстрастный. Потом, будто дело сделано или больше его не касалось – может, он завершил свои наблюдения, – Прадель исчез.

То, что в разгар атаки офицер остановился лишь затем, чтобы посмотреть себе под ноги, было настолько удивительно, что Эдуар на миг забыл о боли. За этим крылось что-то необычное. Вообще, удивительным было уже то, что Эдуара ранило в ногу; пройти всю войну без единой царапины и теперь валяться на земле с коленом, которое будто побывало в мясорубке, тоже не слишком обычно, но все же раз он солдат, а страна втянута в кровавую войну, то ранение в порядке вещей. Но не офицер, застывший под градом снарядов и разглядывающий собственные ботинки...

Перикур расслабил мышцы, снова откинулся на спину, стиснув руками колено над импровизированным жгутом. Несколько минут спустя, охваченный любопытством, он изогнулся и снова посмотрел туда, где только что стоял лейтенант Прадель... Никого. Офицер исчез. Линия атаки вновь продвинулась, взрывы удалились на несколько десятков метров. Теперь Эдуар мог оставаться там, где лежал, и сосредоточиться на своей ране. Мог, к примеру, поразмыслить, что лучше – дожидаться помощи здесь или же ползти назад, но вместо этого он выгнулся, прогнув поясницу, как вытасченный из воды карп, не отрывая взгляда от того места.

Наконец он решил. Ему пришлось несладко. Эдуар приподнялся на локтях, чтобы ползти, пятясь назад. Правой ноги он уже не чувствовал, он опирался на локти, чуть перенося вес на левую ногу; другая нога безжизненно волочилась по грязи. Каждый метр давался с трудом. И он не понимал, почему поступает именно так. Он не смог бы объяснить. Разве что тем, что Прадель внушал беспокойство, его терпеть не могли. Он словно служил подтверждением поговорки, гласившей, что для военного опаснее всего не враг, а начальство. Хоть Эдуар был недостаточно политизирован, чтобы счесть это свойством системы, мысль его работала именно в этом направлении.

Итак, он вдруг резко останавливается, одолев семь-восемь метров, не больше. Страшный взрыв снаряда большого калибра пригвождает его к земле. Вероятно, на почве детонация чувствуется сильнее. Он напряжливается, как шест при прыжке, и даже его правая нога не препятствует этому движению. Похоже на эпилептический припадок. Взгляд его по-прежнему прикован к тому месту, где несколько минут назад находился Прадель, когда бешеной яростной волной взмывает столб земли. Эдуару кажется, что взрыв так близко, что вот-вот его накроет и погребет под собой; столб действительно стал опадать с ужасным приглушенным ревом, будто вздох людоеда. Взрывы и трассирующие пули, осветительные ракеты, вспыхивающие в небе, – все это мелочи по сравнению с рушащейся рядом земляной стеной. Скованный страхом, он закрыл глаза, ощущая, как вибрирует под ним земля. Эдуар съежился, задержав дыхание. Когда он пришел в себя и осознал, что еще жив, у него было ощущение, что спасся он лишь чудом.

Земля улеглась. Но тотчас, как крупная крыса из траншеи, Эдуар с невесть откуда взявшимся приливом сил снова пополз, по-прежнему на спине, повинуясь зову сердца. Наконец ему стало ясно, что он добрался туда, куда рухнула взрывная волна, и здесь из превращенной в пыль земли торчал крохотный стальной стержень. Всего-то несколько сантиметров. Это кончик штыка. Все ясно. Там, внизу, заживо погребен солдат.

Это классический завал, он слышал о таких, но никогда еще с этим не сталкивался. В тех подразделениях, где он сражался, нередко были саперы с лопатками и кирками, которые пытались откопать тех, кто угодил под завал. Обычно они докапывались слишком поздно и доставали солдат с синюшными лицами и вылезшими из орбит глазами. На миг в сознании Эдуара мелькнула тень Праделя, но он не стал заикливаться на этом.

Действовать, скорее действовать.

Он перевернулся на живот и тотчас вскрикнул от боли, потому что рана вновь открылась и теперь, кроваточа, впечаталась в грязь. Еще не затих его хриплый крик, как он принялся скрести землю согнутыми, как когти, пальцами. Инструмент довольно жалкий, учитывая, что парню, оказавшемуся там, внизу, уже нечем дышать... Эдуару не потребовалось много времени, чтобы прийти к этому выводу. На какой же он глубине? Если бы хоть было чем скрести

землю! Перикур повернулся вправо; вокруг лежали трупы, кроме них, в пределах досягаемости больше ничего не было. Никакого подручного средства, ничего. Единственным решением было попытаться вытащить этот штык и воспользоваться им, чтобы рыть землю. Но это может отнять уйму времени, а ему казалось, что тот парень зовет на помощь. Разумеется, даже если он и находится неглубоко, в этом грохоте расслышать его невозможно, так что это лишь игра разгоряченного воображения. Эдуар понимал, что действовать необходимо срочно. Людей из-под завала следует извлечь сразу же, иначе откопаешь покойника. Разгребая пальцами обеих рук землю вокруг штыка, Эдуар гадал, знает ли он этого парня, в голове кружились имена однополчан, их лица. Нелепо в данных обстоятельствах: он не просто хотел спасти товарища, он хотел спасти кого-то из тех, с кем ему доводилось разговаривать и кто ему нравился. Это помогло удвоить усилия. Он то и дело поглядывал по сторонам, не придет ли кто ему на помощь, но тщетно; пальцам уже было больно. Ему удалось углубиться сантиметров на десять вокруг стального стержня, но при попытке выдернуть из земли штык не сдвинулся ни на миллиметр – все равно что пытаться вырвать здоровый зуб. Сколько времени он упорствует? Две минуты? Три? Парень, может, уже мертв. У Эдуара заболели плечи от этой позы. Долго он так не продержится, от сомнения, что ему удастся что-то сделать, движения его замедлились, дыхание сбилось, мышцы одеревенели, плечи свело судорогой. Он стукнул кулаком по земле. И вдруг – точно! – что-то сдвинулось! У него внезапно потекли слезы, он в самом деле плакал. Ухватив штык обеими руками, он расшатывал и тянул его изо всех сил, не останавливаясь. Тыльной стороной руки он отер слезы, застилавшие глаза, вдруг стало легче, он прекратил тянуть штык и вновь принялся скрести землю; потом погрузил руку в ямку, чтобы попытаться вытащить штык. У него вырвался победный крик, когда штык вдруг подался. Вытянув его, он с удивлением секунду смотрел на него, не веря своим глазам, будто видел штык впервые в жизни, но затем яростно вонзил его в землю, с криком и рычанием он вновь и вновь протыкал почву. Эдуар очертил широкий круг и, опустив штык плашмя, пронизывал пласт земли, а затем приподнимал его и отбрасывал рукой. Сколько это длилось? Боль в ноге усилилась. Наконец что-то показалось; он потрогал – ткань, пуговица. Он бешено заскреб землю, как настоящая охотничья собака, потом снова пощупал. Гимнастерка, он подсунил руки поглубже, земля начала как бы проваливаться в воронку, он нащупал что-то, но не мог понять, что именно. Наконец ощутив гладкость каски, он кончиками пальцев обвел ее контур, пока не дотронулся до лица парня. Эй! Эдуар по-прежнему плакал и что-то выкрикивал, но его руки с неведомой, почти неподвластной ему силой делали свою работу, яростно расчищая землю. Еще сантиметров тридцать, и наконец показалась голова солдата, кажется, что он заснул; он узнал его, как же его звать-то? Тот был мертв. Эдуару стало так горько, что он остановился, разглядывая лежащего внизу прямо под ним товарища; на миг ему показалось, что и сам он тоже мертв и смотрит на свою собственную смерть, и от этого ему было невероятно, просто невероятно скверно...

Плача, он продолжал освобождать тело, дело пошло скорее, вот плечи, торс до самого ремня. Возле лица солдата была голова лошади, мертвой лошади! Как странно, что они оказались погребены вместе, друг против друга, подумал Эдуар. Сквозь слезы он видел, как бы он зарисовал эту сцену, – это было сильнее его. Он отрыл бы его быстрее, если бы мог встать, изменить позу, но и в этом положении дело продвигалось. Он вслух твердил какие-то нелепицы, убеждал себя: не волнуйся, плача навзрыд, словно тот, другой, мог его слышать, ему хотелось обнять этого парня, и он говорил слова, которых бы устыдился, если бы кто-нибудь мог его услышать, ведь он, по сути, оплакивал собственную смерть, оплакивал свой запоздалый страх. Теперь, по прошествии двух лет, он мог признаться, что до смерти боялся, что однажды сам окажется на месте мертвого солдата, а кто-то другой, не он, будет лишь серьезно ранен. Это был конец войны, и слезами, пролитыми над товарищем, он оплакивал свою юность, свою жизнь. Ему выпала удача. Увечье, он будет до конца жизни подволакивать ногу. Ну и что такого. Он выжил. Размашистыми, широкими движениями Эдуар до конца высвободил тело из земли.

В памяти всплыла фамилия: Майяр. Имени он и не знал, его называли просто Майяр.

И сомнение. Он склонился к лицу Альбера, ему хотелось, чтобы весь грохотающий взрывами мир вокруг смолк и в тишине он мог бы вслушаться, потому что все же не уверен: тот жив или мертв? Он лежал, почти вплотную прижавшись к парню, что было довольно неудобно, он дал ему несколько пощечин, голова Майяра покорно моталась из стороны в сторону, это ничего не значило, и вообще Эдуару взбрела в голову дурная мысль, что солдат, быть может, еще не совсем мертв, от этой мысли Эдуару стало только хуже, и все же теперь, когда забрезжило сомнение, замаячил вопрос, он понял, что должен, непременно должен проверить, хотя это кажется полной жутью. Так хочется крикнуть ему: «Брось, ты сделал все, что мог!» Хочется взять его за руки, мягко так, сжать их, чтобы он прекратил дергаться и горячиться, хочется сказать то, что обычно говорят детям, впавшим в истерику, крепко обнять и держать, покуда не высохнут слезы. В общем, убаюкивать. Только нас с вами рядом с Эдуаром нет, и некому настаивать его на правильный путь, а в его мозгу невесть откуда всплыла мысль, что смерть Майяра, быть может, не окончательная. Эдуар как-то видел такое, или ему рассказывали фронтовую легенду, одну из тех военных историй, свидетелей которых не сыщешь, про солдата, которого сочли мертвым, но его вернули к жизни, – сердце, оно забилося вновь.

Подумав об этом, несмотря на боль, Эдуар – невероятно! – встал на здоровую ногу. Поднимаясь, он видел, как волочится правая нога, но это все было как в тумане, где смешались страх, дикая усталость, страдание и отчаяние.

Он на секунду замер, чтобы собраться с духом.

Секунда, он постоял – на одной ноге, как цапля, невесть как удерживая равновесие, бросил взгляд вниз, короткий вдох – и он резко, всей своей тяжестью обрушился на грудь Альбера.

Зловещий хруст, ребра раздавлены, сломаны.

Эдуар услышал хрип. Земля под ним подалась, и он соскользнул чуть ниже, но это вовсе не земля сдвинулась, это повернулся Альбер, его выворачивает наизнанку, он кашляет. Эдуар не верит своим глазам, к горлу снова подступили слезы, признайте, он и вправду везунчик, этот Эдуар. Альбера по-прежнему рвет, Эдуар весело стучит его по спине, он плачет и одновременно смеется. Вот он сидит на поле битвы, рядом с головой дохлой лошади, кровоточащая нога неестественно вывернута, он вот-вот лишится чувств от усталости, а рядом тип, который вернулся из мертвых и теперь блюет рядом с ним...

Для конца войны это что-то. Отличная картинка. Но не последняя. В то время как Альбер Майяр с трудом приходит в чувство, надсаживаясь криком, катаясь на боку, Эдуар, встав как столб, прокликает Небеса, будто поджигает заряд динамита.

И вот оттуда ему навстречу летит осколок снаряда, большой, размером с суповую тарелку. Довольно мощный, падающий с головокругительной скоростью.

Ответ богов, кто бы сомневался.

## 4

Оба солдата довольно по-разному выбрались на поверхность.

Альбер, воскресший из мертвых едва не вывернув кишки наизнанку, более-менее пришел в сознание под небом, прошитым трассами артиллерийских снарядов, что означало возвращение в реальную жизнь. Он еще не отдавал себе отчета в том, что атака, организованная и ведомая лейтенантом Праделем, уже почти закончилась. Высоту 113 в конечном счете удалось взять довольно легко. Немцы, оказав энергичное, но краткое сопротивление, затем признали свое поражение; некоторых взяли в плен. Всё от начала до конца оказалось простой формальностью: тридцать восемь убитых, двадцать семь раненых и двое пропавших без вести (бошей никто не подсчитывал); иными словами, превосходный итог.

Когда санитары нашли его на поле битвы, Альбер держал голову Эдуара Перикура на коленях и, напевая, укачивал его, пребывая в состоянии, которое спасатели определили как галлюцинаторное. Все ребра у него были треснуты либо сломаны, но легкие оказались целы. Альбер терпел страшные мучения, что в общем и целом являлось добрым знаком – знаком, что он жив. Однако он был не слишком бодр, и даже если бы захотел, то вынужден был бы отложить размышление над своим положением.

Например, каким чудом, благодаря какой высшей воле или непостижимой случайности его сердце перестало биться всего лишь за несколько кратких мгновений до того, как рядовой Перикур начал производить реанимацию весьма специфическими методами. Альбер мог лишь констатировать, что машину удалось вновь запустить, пусть с резкими толчками, конвульсиями и встряской, но сохранив самое существенное.

Врачи, туго перебинтовав Альбера, порешили, что далее их медицинская наука бессильна, и препроводили его в огромный общий зал, где вповалку лежали умирающие, несколько тяжелораненых, множество различных калек, а наиболее дееспособные, несмотря на лубки и шины, резались в карты, щурясь сквозь повязки. Благодаря взятию высоты 113 госпиталь на передовой, который в эти последние недели слегка подремывал в ожидании Перемирия, вновь вернулся к активной жизни, но так как атака оказалась не слишком опустошительной, то прием раненых проходил в нормальном ритме, от которого почти за четыре года все отвыкли. Обычно у медсестер не было ни минуты, чтобы напоить умиравших от жажды. А врачи опускали руки задолго до того, как раненые отдадут концы. У хирургов, не спавших по трое суток кряду, руки сводило судорогой, когда приходилось пилить тазобедренные, берцовые и плечевые кости.

Эдуар по прибытии в госпиталь перенес две сделанные наспех операции. Его правая нога была сломана в нескольких местах, связки и сухожилия порваны, ему предстояло хромать до конца жизни. Самое сложное было обработать раны лица: нужно было обследовать их и извлечь инородные включения (насколько это возможно, учитывая, как оборудован госпиталь на передовой). Ему поставили прививки, сделали все необходимое, чтобы восстановить проходимость верхних дыхательных путей, избавились от риска распространения газовой гангрены, а края ран решительно иссекли, чтобы избежать инфекции; все остальное, то есть самое главное, должны были проделать в лучше оборудованном тыловом госпитале, а затем, если раненый к этому времени не умрет, можно было подумать о переводе его в специализированное медицинское учреждение.

Был отдан приказ в срочном порядке перевезти Эдуара в тыловой госпиталь, а пока Альберу, чья история, многократно пересказанная и переименованная, облетела госпиталь, было разрешено находиться у постели товарища. По счастью, для этого раненого нашлась отдельная палата в особой дальней части здания, выходявшей на южную сторону, куда не долетали стоны умирающих.

Альбер почти беспомощно присутствовал при том, как Эдуар постепенно всплывал на поверхность – изнурительное беспорядочное движение, суть которого от него ускользала. Иногда он замечал на лице молодого человека игру мимики, но одно выражение лица сменяло другое, прежде чем Альберу удавалось подобрать соответствующее слово. Как я уже говорил, Альбер и прежде соображал не сильно быстро, а то незначительное происшествие, жертвой которого он стал, никак не улучшило дела. Раны Эдуара доставляли тому ужасные мучения, он так яростно кричал и метался, что пришлось привязать его к кровати. Тогда-то до Альбера дошло, что отдельная палата в дальнем конце госпиталя предоставлена вовсе не ради удобства раненого, но чтобы другим не пришлось сносить непрерывные стоны. Четырех лет войны оказалось недостаточно, чтобы поумерить его безграничную наивность.

Альбер заламывал руки, слыша, как вопит его товарищ; крики Эдуара – от стоны до рыдания и воя – за несколько часов вместили всю гамму переживаний человека, дошедшего до предела боли и безумия.

Альбер, который был не способен отстоять свою позицию перед заместителем начальника отделения банка, сделался пылким защитником Эдуара, он доказывал, что попавший в того осколок снаряда – это вам не пылинка, попавшая в глаз, и тому подобное. С учетом своих невеликих возможностей Альбер был на высоте, ему даже казалось, что он произвел впечатление. На самом деле единственным, что произвело впечатление, был его жалкий и трогательный вид, однако это сработало. Так как в ожидании сантранспорта врачи сделали для Эдуара все, что было в их силах, молодой хирург согласился дать ему морфин, чтобы облегчить боль, но с условием придерживаться минимальной дозы и постепенно уменьшать ее. Было немислимо, чтобы Эдуар долее оставался в госпитале: его состояние требовало срочной специализированной помощи. Его было необходимо немедленно доставить в тыл.

Благодаря морфину медленное возвращение Эдуара было не таким беспокойным. Первые его осознанные ощущения были довольно путанными: холод, тепло, какие-то трудноразличимые отзвуки, голоса, которых он не узнавал; хуже всего были окатывавшие верхнюю часть тела от груди и выше приливы боли, пульсировавшей в ритме биения сердца, непрерывная череда волн, которые оборачивались истинной мукой по мере того, как действие морфина ослабевало. Голова превратилась в резонатор, каждая волна ударяла в затылок тяжелым глухим стуком, напоминавшим звук, с которым швартовые круги судна, пришедшего в порт, бьются о набережную.

Нога тоже давала о себе знать. Правая, раздробленная коварной пулей, которую он еще сильнее разбередил, спасая Альбера Майяра. Но эта боль также затуманивалась под воздействием наркотиков. Эдуар довольно смутно сознавал, что нога по-прежнему есть, а так оно и было. Конечно, раздробленная в хлам, но все же способная служить ее обладателю настолько, насколько этого можно было ожидать от ноги, вернувшейся с Первой мировой войны. Реальность долгое время оставалась неясной, окутанной видениями. Эдуар метался в бесконечном хаотическом сне, где без порядка и без разбора сливались образы всего, что ему довелось видеть, знать, слышать, чувствовать. В мозгу события смешивались с рисунками и картинками, словно его жизнь была не чем иным, как еще одним сложноподвижным произведением искусства в его воображаемом музее. Мимолетные видения красавиц Боттичелли, внезапный испуг мальчика, укушенного ящерицей, у Караваджо, а следом лицо торговки овощами и фруктами с улицы Мартир, чья серьезность всегда поражала Эдуара, или, поди знай почему, отцовский накладной воротничок, тот, что слегка отливал розовым.

В средоточие этого наслоения повседневных банальностей, персонажей Босха, обнаженных моделей и неистовых воинов периодически вторгалось «Происхождение мира». <sup>1</sup> Меж тем он видел эту картину один-единственный раз, тайно, у друга семьи. Должен вам сказать, что это

---

<sup>1</sup> «Происхождение мира» – знаменитая картина Гюстава Курбе, изображающая вагину.

случилось задолго до войны, Эдуару было, наверное, лет одиннадцать-двенадцать. В ту пору он еще учился в частной школе Святой Клотильды. Клотильда, дочь Хильперика и Агриппины, та еще шлюха, и Эдуар рисовал Клотильду во всех позах: уестествляемой ее дядей Годезилом, в позе левретки – Хлодвигом и около 493 года отсасывающей у короля Бургундского, в то время как Реми, архиепископ Реймский, пристроился сзади. Это и стоило Эдуару третьего исключения из школы, на сей раз окончательного. Все, однако, были согласны, что рисунки чертовски здорово проработаны, и ломали голову, откуда мальчик, в его возрасте, взял образцы, где заимствовал все эти детали... Его отец, рассматривавший искусство как патологическое расстройство на почве сифилиса, лишь поджимал губы. На самом деле дела Эдуара обстояли не слишком хорошо еще до святой Клотильды. Особенно отношения с отцом. Эдуар изъяснялся, как правило, с помощью рисунков. В каждой школе преподаватели в один прекрасный день удостаивались карикатуры размером в целый метр на черной классной доске. В подписи художника, можно сказать, не было нужды, вылитый Перикур. На протяжении ряда лет воображение Эдуара, ограниченное жизнью тех школ, куда отцу, благодаря связям, удавалось его определить, понемногу развивалось, захватывая новые темы, складывалось в то, что можно было назвать его «святым периодом», увенчавшимся сценой, где мадемуазель Жюст, преподавательница музыки, в образе Юдифи плотоядно потрясала головой Олоферна, донельзя напоминавшей мсье Лапюrsa, учителя математики. Было известно, что эта парочка крепко спаяна. До самого их разрыва, который и символизировало это прелестное усековение главы, все имели возможность, благодаря хронике, которую вел Эдуар, узреть немало скабрёзных эпизодов в картинках, в настенных изображениях и на листках, которые даже преподаватели, если им удавалось заполучить их, передавали друг другу из рук в руки, прежде чем вручить директору. Стоило увидеть на школьном дворе бесцветного учителя математики, как тотчас проявлялась тень резвого сатира, снабженного поразительных размеров признаками мужественности. В то время Эдуару было восемь лет. Библейская сцена стоила ему вызова в дирекцию. Беседа никак не улучшила положения дел. Когда директор школы, потрясая зажатым в руке рисунком, с негодованием упомянул о Юдифи, Эдуар заметил, что хотя молодая женщина и держит отсеченную голову за волосы, но голова при этом покоится на блюде, и было бы правильнее усмотреть в этом образе не Юдифь, а скорее Саломею и соответственно Иоанна Крестителя, а не Олоферна. Эдуар был еще и слегка педант – рефлекс дрессированного пса, встающего на задние лапы, что многих раздражало.

Бесспорно, период его наибольшего вдохновения, который можно определить как «период цветения», начался у него в пору мастурбации, когда сюжеты исполнялись с необычайной выдумкой и изобретательностью. Его фрески запечатлели весь персонал школы вплоть до служителей, удостоившихся тем самым почета, оскорбительного для преподавательского состава, – в обширных композициях, где обилие персонажей позволяло автору создать самые оригинальные сексуальные комбинации. Все смеялись, хотя, открывая плоды этого эротического воображения, поневоле слегка призадумывались о собственной жизни, а наиболее рассудительные распознавали здесь настораживающую склонность к отношениям, как бы это выразиться, сомнительным.

Эдуар все время рисовал. Его считали порочным, потому что он обожал шокировать, не упуская ни одной возможности. Но содомирование святой Клотильды архиепископом Реймским серьезно задело школьное начальство. И родителей Эдуара тоже. Чаша терпения переполнилась. Отец, по обыкновению, заплатил сполна, чтобы избежать скандала. Но дирекция была неумолима. Содомия исключала снисхождение. На Эдуара ополчились все. Кроме нескольких приятелей, в частности тех, кого эти рисунки возбуждали, и его сестры Мадлен. Ее-то смешило не столько то, что архиепископ обрабатывает Клотильду, – это все же древняя история, – но вот представить себе лицо директора, отца Юбера, – это да!.. Она ведь тоже обучалась у Святой Клотильды, в школе для девочек, и всех прекрасно знала. Мадлен веселила смелость Эдуара,

его неизбывные дерзости, она любила ерошить его волосы; но нужно было, чтобы Эдуар позволил ей это сделать, ведь он, хоть и младше ее, был гораздо выше... Он наклонялся, и она погружала руки в его густую шевелюру, она так сильно трепала его за волосы, что он в конце концов со смехом требовал пощады. Отцу вряд ли понравились бы подобные сцены.

Вернемся к Эдуару и его образованию: все кончилось хорошо, поскольку родители его были богаты, хотя не все сошло гладко. Господин Перикур еще до войны зарабатывал сумасшедшие деньги, а такие типы во время кризисов только богатеют – как будто кризисы созданы специально для них. О маменькином богатстве никогда не упоминали – какой смысл, все равно что спрашивать, давно ли море солёное. Но так как мать умерла совсем молодой от сердечной болезни, всем стал заправлять отец. Поглощенный делами, он возложил воспитание детей на учебные заведения, преподавателей и гувернеров. На прислугу. Эдуар был наделен умом, который, по общему мнению, существенно превосходил обычный уровень, от природы – чрезвычайными способностями по части рисования, перед которыми немели даже его наставники из Академии изящных искусств, и неслыханным везением. Чего ж еще желать? Быть может, именно по всем этим причинам он без конца и испытывал терпение окружающих. Когда знаешь, что ничем не рискуешь, что все устроится, это снимает запреты. Можно нести все, что придет в голову и когда угодно. И это даже прибавляет уверенности в себе: чем сильнее опасность, которой себя подвергаешь, тем лучше осознаешь прочность своей защиты. В самом деле, г-н Перикур вытаскивал сына из любых передряг, но он делал это ради себя самого, так как опасался запятнать собственное имя. А вытаскивать было нелегко, ведь Эдуар был тем еще подарком, он постоянно провоцировал скандалы, это он обожал. В конце концов отец утратил интерес и к сыну, и к его будущему, и Эдуар воспользовался этим, чтобы поступить в Академию изящных искусств. Любящая сестра-защитница, мощный покровитель-отец, который поминутно отрекался от него, неоспоримый дар – словом, у Эдуара были практически все составляющие успеха. Теперь-то нам понятно, что все будет не совсем так, но под конец войны ситуация представлялась именно такой. Ну, кроме ноги. Чертовски искореженной.

Всего этого Альбер, сидевший у изголовья, менявший повязки, разумеется, не знал. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что траектория жизни Эдуара Перикура, какой она была до этого, 2 ноября 1918 года резко изменилась.

А правая нога вскоре станет наименьшей из его проблем.

Таким образом, Альбер не отходил от товарища и служил добровольным помощником для санитаров. Они проводили процедуры, которые уменьшали риск распространения инфекции, кормили Эдуара через зонд (ему давали молоко, смешанное со взбитыми яйцами, или мясную подливку), Альбер же делал все остальное. Если он не обтирал лоб Эдуара влажной тканью или не поил его с ювелирной точностью, умудряясь не пролить ни капли, то менял простыни. Он стискивал зубы, отворачивался, зажимал себе нос, оглядывался вокруг, убеждая себя, что от тщательности, с которой он проделывает эту неприятную работу, возможно, зависит будущее его товарища.

Он полностью сосредоточился на двух задачах: искал – тщетно – способ, который позволил бы ему дышать так, чтобы не беречь грудную клетку, и дежурил возле постели товарища, дожидаясь прибытия санитарной машины.

Продельвая все это, Альбер то и дело представлял Эдуара Перикура, почти лежавшего на нем, пока он возвращался из царства мертвых. Но на заднем плане все время маячил образ этого шакала Праделя. Альбер убил немало времени, представляя, что сделает, когда столкнется с ним. Он вновь видел, как Прадель набрасывается на него на поле боя, и почти физически ощущал, как проваливается в воронку от снаряда, – эта дыра будто втянула его. Однако как следует сосредоточиться не удавалось, – казалось, к нему еще не вернулась прежняя острота умственных реакций.

Тем не менее вскоре после возвращения к жизни у него всплыли слова: меня пытались убить.

Это звучало странно, но было не лишено смысла; война в общем и целом была лишь попыткой убийства, охватившей весь континент. Вот только данная попытка была направлена лично на него. Глядя на Эдуара Перикюра, Альбер порой вновь переживал тот момент, когда воздуха стало совсем мало, и в душе его закипал гнев. Через два дня он сам был готов стать убийцей. После четырех лет войны самое время.

Оставаясь один, он думал о Сесиль. Она будто отделилась от него, он страшно скучал по ней. Плотное наслаждение событий вытолкнуло Альбера в другую жизнь, но никакая другая жизнь была невозможна, если в ней не жила Сесиль, он убаюкивал себя воспоминаниями о ней, разглядывал ее фотографию, упивался ее бесчисленными совершенствами, бровями, носом, губками, даже подбородком; как может существовать на свете такое неслыханное сокровище, как рот Сесиль?! Сесиль у него украдут. Кто-нибудь придет и возьмет ее. Или она уедет. До нее дойдет, что, в сущности, Альбер не бог весть что, тогда как она, одни ее плечи – это что-то... Эти мысли его просто убивали, он проводил часы в страшной грусти. И тогда все пропало, думал он. Потом доставал лист бумаги и пытался написать ей письмо. Но стоит ли рассказывать ей все, ведь она ждет одного-единственного – по сути, ждет, чтобы об этом перестали говорить, чтобы с войной было наконец покончено.

Если Альбер не обдумывал, что написать Сесиль или матери (сперва Сесиль, а уж потом матери, если хватит времени), и не подменял санитаря, то он мысленно возвращался к случившемуся.

К примеру, ему часто вспоминалась голова лошади, рядом с которой его засыпало землей. Любопытно, что с течением времени она перестала казаться чудовищной. Даже затхлый запах гниения, который он вдохнул, пытаясь выжить, уже не казался ему таким гнусным и тошнотворным. И напротив, если образ Праделя, стоящего на краю воронки, виделся ему с почти фотографической точностью, то голова лошади, чьи расплывающиеся черты он как раз хотел запомнить, утрачивала свой цвет и абрис. Несмотря на стремление сосредоточиться и вспомнить, ее образ рассеивался, и у Альбера возникало ощущение утраты, что подспудно его волновало. Война заканчивалась. Это был не час подведения итогов, но суровый час реальности, когда устанавливают размер ущерба. Как те люди, что привыкли четыре года пригибаться под обстрелом, люди, которые в определенном смысле так и не разогнулись и всю оставшуюся жизнь будут продолжать идти с этим незримым грузом на плечах, Альбер чувствовал: что-то – он был в этом уверен – утрачено навсегда, а именно безмятежность. Вот уже несколько месяцев, после первого ранения на Сомме, нескончаемых ночей, когда он, став санитаром, отправлялся на поле боя на поиски раненых, стреноженный страхом получить шальную пулю, и еще более теперь, воскреснув из мертвых, он сознавал, что нескончаемый, вибрирующий внутри, почти осязаемый страх мало-помалу угнездился в нем. К этому добавились разрушительные последствия его пребывания под завалом. Что-то в нем до сих пор пребывало под землей, тело подняли на поверхность, но замкнутая и пропитанная ужасом частица его сознания осталась замураванной там, внизу. Пережитое впечаталось в его плоть, движения, взгляды. Стоило покинуть палату, как Альбера пронизывала тревога, он вслушивался в каждый шаг, предупредительно выглядывал за дверь, прежде чем отворить ее настежь, шел, почти касаясь стены, нередко чувствуя чье-то присутствие за спиной, изучающе вглядывался в лица собеседников и на всякий случай держался поближе к выходу. Где бы он ни оказался, он непрерывно оглядывал все вокруг.

Сидя у постели Эдуара, Альбер старательно смотрел в окно, так как атмосфера палаты действовала на него угнетающе. Он все время был начеку, все вызывало в нем подозрения. Он понимал, что ему от этого уже вовек не избавиться. Всю оставшуюся жизнь ему придется

жить с этим животным страхом – так человек, сознающий, что ревнует, понимает, что отныне должен будет считаться с этой новой болезнью. Это открытие невероятно огорчило его.

Морфин оказывал свое действие. Хотя дозу следовало постепенно понижать, в настоящий момент Эдуар имел право на одну ампулу раз в пять-шесть часов, он больше не корчился от боли, а палату не оглашали постоянные стоны, перемежаемые леденящими кровь криками. Когда он не дремал, то вроде как грезил наяву, но по-прежнему его держали привязанным к кровати, чтобы он не пытался расчесать открытые раны.

В прежней жизни Альбер и Эдуар никогда тесно не общались, они виделись, пересекались, здоровались, быть может, даже пару раз улыбнулись друг другу издалека, но этим все и ограничивалось. Эдуар Перикур – один из многих товарищей, близкий и совершенно неизвестный. Ныне для Альбера загадка, тайна.

На следующий день по прибытии в госпиталь он обнаружил, что бумаги Эдуара лежат на нижней полке деревянного шкафчика, дверца которого открывалась и скрипела при малейшем сквозняке. Любой мог войти и прихватить бумаги – поди знай. Альбер решил переложить их в место понадежнее. Но, забрав холщовый мешок с личными вещами Эдуара, Альбер вынужден был признать в душе, что не захотел проделать это раньше, так как вряд ли бы устоял перед соблазном заглянуть туда. Он воздерживался из уважения к Эдуару, в этом состояла одна причина. Но была и другая. Это напомнило ему о матери. Мадам Майяр относилась к типу матерей-ищеек. В детстве Альбер проявлял чудеса изобретательности, стремясь скрыть свои довольно жалкие секреты, но мадам Майяр всегда находила и торжественно потрясала ими перед его носом, осыпая градом упреков. Была ли это фотография велосипедиста, вырезанная из «Иллюстрасьон», или несколько стихотворных строк, переписанных из антологии, или четыре шарика и большой шар, выигранные в лицее Субиз на перемене, любой секрет в ее глазах становился предательством. В такие исполненные вдохновения дни, размахивая фотографией сценки в кафе-кабаре, открыткой с деревом des Roches в Тонкине, подаренной соседом, она могла разразиться пламенным монологом, упоенно расписывая неблагодарность, присущую детям, а особенно ее сыну-эгоисту, и собственное горячее желание поскорее присоединиться к мужу, чтобы наконец обрести покой. Дальнейшее вам понятно.

Эти печальные воспоминания развеялись, когда Альбер, открыв холщовый мешок Эдуара, почти тотчас наткнулся на перетянутый резинкой блокнот в твердом переплете, явно много повидавший, где были сплошь рисунки, сделанные синим карандашом. Альбер попросту сел по-турецки рядом со скрипящим шкафчиком, совершенно загнипнотизированный этими сценами: некоторые представляли собой беглые наброски, другие – тщательно проработанные рисунки, с глубокими тенями и плотной, как проливной дождь, штриховкой. Рисунки, всего около ста, были сделаны здесь, на фронте, в траншеях, и представляли различные моменты повседневной жизни: солдаты писали письма, курили, смеялись чьей-то шутке, готовились идти в атаку, перекусывали, пили и тому подобное. Наскоро проведенная линия превращалась в профиль усталого солдата, три штриха – и это уже лицо с заострившимися от усталости чертами и растерянными глазами; они пробирали до мурашек. Пустячок, рисованный на лету, мимоходом, мельчайший карандашный штрих улавливал самое существенное: страх и беспомощность, ожидание, упадок духа, бессилие; этот блокнот можно было назвать манифестом безысходности.

У Альбера, перелистывавшего блокнот, сжалось сердце. Ведь во всем этом смерти не было. Не было раненых. Не было трупов. Только живые. Это было тем ужаснее, что все эти картинки вопили об одном: эти люди умрут.

Страшно взволнованный, он сложил все назад в пакет.

## 5

Насчет морфина молодой врач был непоколебим: невозможно продолжать в том же духе – к таким наркотикам привыкают, и это наносит изрядный вред, нельзя употреблять морфин все время, понимаете? Нет, придется остановиться. Через день после операции он снизил дозу.

Эдуар, который медленно приходил в себя, по мере того как к нему возвращалось сознание, опять начал дико страдать от боли. Альбера тревожило, что санитарный транспорт, который должен был перевезти его в Париж, все еще не прибыл.

Молодой врач, услышав вопрос, беспомощно развел руками, потом, понизив голос, сказал:

– Он здесь уже тридцать шесть часов... Его должны были уже отправить, ничего не понимаю. Хотя постоянно случаются заторы. Но, знаете, его и впрямь не следует оставлять здесь...

На лице его была тревога. С этого момента Альбер, не на шутку перепугавшись, преследовал одну-единственную цель – как можно скорее обеспечить перевозку товарища.

Он без конца хлопотал, расспрашивал медсестер, которые, хоть обстановка в госпитале стала спокойнее, носились по коридорам, как мыши в амбаре. Попытки Альбера не принесли никакого результата, это был военный госпиталь, иначе говоря, место, где почти невозможно что-либо разузнать, и прежде всего – кто именно здесь распоряжается.

Каждый час он возвращался в палату Эдуара, дожидаясь, когда молодой человек снова заснет. Остаток времени он проводил в кабинетах и на дорожках, соединявших основные корпуса. Он даже сходил в мэрию.

По возвращении из очередного похода он увидел двух солдат, томившихся ожиданием в коридоре. Аккуратная форма, чисто выбритые лица, реявший над ними ореол самодовольства – все выдавало штабных. Первый вручил ему запечатанный конверт, в то время как второй для вида положил руку на пистолет. Альбер подумал, что его подозрительность не столь уж лишена основания.

– Мы входили туда, – сказал первый с извиняющимся видом. Он указал на палату. – Но после решили подождать снаружи. Запах...

Войдя в палату, Альбер тотчас выронил конверт, который начал распечатывать, и кинулся к Эдуару. Впервые с момента прибытия в госпиталь глаза молодого человека были почти открыты, под спину подложены две подушки – верно, медсестра заходила, – привязанные руки были прикрыты простыней, он покачивал головой, издавая хрипкое ворчание, завершавшееся бульканьем. На первый взгляд это не было похоже на бесспорное и явное улучшение, но до сих пор Альбер видел лишь тело схваченного жестокими спазмами боли человека, который воет или находится в забытии, в состоянии близком к коме. То, что он увидел теперь, выглядело куда лучше.

Трудно сказать, какой ветерок незаметно витал между молодыми людьми в те дни, пока Альбер дремал на стуле, но едва он положил руку на край кровати, как Эдуар, резко натянув удерживавшие его бинты, схватил и стиснул его запястье с силой обреченного. Никто не сумел бы определить, что стояло за этим жестом. В нем слилось все: страх и облегчение, мольбы и вопросы молодого человека двадцати трех лет, раненного на войне, не знающего, что с ним, и страдающего так сильно, что невозможно было определить, где находится очаг боли.

– Ну вот, мой милый, ты и проснулся, – сказал Альбер, стремясь, чтобы это прозвучало как можно более радостно.

За его спиной раздался чей-то голос:

– Нам пора...

Подскочив от неожиданности, Альбер обернулся.

Солдат протягивал ему поднятый с пола конверт.

Альбер в ожидании провел перед кабинетом около четырех часов. Этого было более чем достаточно, чтобы перебрать все возможные причины, в силу которых никому не известного солдата вроде него могли вызвать к генералу Морье. От награды за подвиг до справки о состоянии Эдуара, опустим перечисление, каждый может представить сам.

Итог этих часов размышления развеялся в один миг, когда он увидел в конце коридора длинный силуэт лейтенанта Праделя. Офицер пристально посмотрел ему в глаза и враскачку двинулся на него. Альбер почувствовал, как комок из горла смещается в желудок, и с огромным трудом удержал тошноту. Походка лейтенанта, хоть и не столь стремительная, была такой же, как во время боя, когда он столкнул его в воронку. Дойдя до Альбера, лейтенант отвел от него взгляд, круто развернулся, постучал в дверь и тотчас вошел в канцелярию генерала.

Чтобы переварить все это, Альберу требовалось время, но его было отпущено мало. Дверь снова отворилась, оттуда рявкнули его имя, он, пошатываясь, вошел в святая святых, где пахло коньяком и сигарами, – возможно, там уже отмечали грядущую победу.

Генерал Морье выглядел очень старым, он походил на тех старцев, что послали на смерть целые поколения своих детей и внуков. Если смешать черты, знакомые по портретам Жоффра и Петэна, с портретами Нивеля, Галлиени и Людендорфа, вы получите Морье. Моржовые усы, воспаленные глаза, подернутые краснотой, глубокие морщины и врожденное чувство собственной значимости.

Альбер парализован. Невозможно понять, то ли генерал находится в глубокой задумчивости, то ли впал в дрему. Вроде как Кутузов. Сидя за письменным столом, он погружен в свои бумаги. Перед ним, спиной к генералу, лицом к Альберу – стоит лейтенант Прадель, ни одна жилка не дрогнет, медленно и упорно оглядывает рядового с головы до ног. Широко расставив ноги, руки за спиной, будто проводит смотр, он слегка покачивается. Поняв подсказку, Альбер выпрямляется. Он вытягивается в струнку, потом сильнее выпячивает грудь так, что возникает боль в пояснице. Молчание сгущается. Наконец морж поднимает голову. Альбер невольно еще сильнее выгибается. Еще чуть-чуть, и он опрокинется на мостик, как акробаты в цирке. В обычной ситуации генерал должен бы скомандовать «вольно», чтобы облегчить это неудобное положение, но нет, он пристально разглядывает Альбера, откашливается и вновь опускает глаза на документ.

– Рядовой Майяр, – наконец произносит он.

Альберу полагается ответить: «Так точно, господин генерал» или что-то в этом роде, но как бы медленно ни реагировал генерал, это слишком быстро для Альбера. Генерал смотрит на него.

– Ко мне поступил рапорт... – продолжает он. – Второго ноября во время атаки вашего подразделения вы намеренно пытались уклониться от выполнения своего долга.

Такого Альбер не предвидел. Он представлял себе что угодно, только не это. Генерал зачитывает:

– «...Укрылся в воронке от снаряда, чтобы уклониться от выполнения своих обязанностей...» Тридцать восемь ваших храбрых товарищей сложили голову в этом бою. За родину. Рядовой Майяр, вы презренный негодяй. И я даже выскажу откровенно то, что думаю: вы подлец!

На сердце у Альбера так тяжело, что из глаз вот-вот потекут слезы. Столько недель он надеялся, что покончит с этой войной, стало быть, конец выглядит так...

Генерал Морье по-прежнему сверлит его взглядом. Подобное малодушие кажется ему прискорбным, весьма прискорбным. Удрученный зрелищем недостойного поведения, которое олицетворяет собой этот жалкий тип, он заключает:

– Но дезертирство – это не по моему ведомству. Видите ли, мое дело война. Вами, рядовой Майяр, займется военный трибунал.

Альбер забывает о стойке «смирно». Руки, вытянутые по швам, начинают дрожать. Это конец. Всем хорошо известны эти истории с дезертирством, когда парни предпринимали самострел, чтобы избежать отправки на фронт. Всем известен военный трибунал – особенно в семнадцатом году, когда Петэн вернулся, чтобы слегка навести порядок в борделе. Бог весть сколько народу было расстреляно; в случаях с дезертирами трибунал никогда не шел на уступки. Приговоренных к расстрелу было сравнительно немного, но все они благополучно оказались на том свете. И очень скоро. Скорость исполнения наказания являлась частью самого наказания. Жить Альберу остается три дня. В лучшем случае.

Ему следует все объяснить, это же недоразумение. Но лицо Праделя, который буравит его взглядом, не оставляет никаких сомнений. Лейтенант уже во второй раз посылает его на смерть. Можно выжить, будучи погребенным заживо, шансы есть, но представ перед трибуналом...

Пот струится между лопаток, стекает по лбу, мешая смотреть. Дрожь усиливается, и Альбер начинает мочиться, не сходя с места, медленно. Генерал и лейтенант смотрят, как расплзается пятно на ширинке Альбера, спускаясь по ногам.

Надо сказать что-нибудь. Альбер ищет слова, ничего не приходит в голову. Генерал вновь переходит в наступление, это как раз то, к чему он привык, будучи генералом.

– Лейтенант д'Олнэ-Прадель удостоверяет, он отчетливо видел, как вы бросились в грязь. Не так ли, Прадель?

– Отчетливо видел, господин генерал. Именно так.

– Так что же, рядовой Майяр?

Альбер не может выдавить из себя ни единого слова, хотя и пытается подыскать ответ. Он бормочет:

– Тут не то...

Генерал хмурит брови:

– Что значит «не то»? Вы участвовали в атаке до самого конца?

– Э-э, нет...

Следовало сказать: «Нет, господин генерал», но в подобной ситуации невозможно учесть все.

– Вы не пошли в атаку, – выкрикивает генерал, барабанив пальцами по столу, – потому что оказались в воронке от снаряда! Так или не так?!

Продолжение разговора будет нелегким. Тем более что генерал снова стучит по столу кулаком.

– Рядовой Майяр, да или нет?!

Лампа, чернильница, бювар подсказывают в унисон.

Взгляд Праделя не отрывается от ног Альбера, вокруг которых на потертом ковре кабинета расплзается пятно мочи.

– Да, но...

– Разумеется, да! Лейтенант Прадель вас отлично видел, не так ли, Прадель?

– Отлично видел, господин генерал.

– Но ваша трусость, рядовой Майяр, не увенчалась успехом... – Генерал Морье поднимает карающий палец. – Вы даже чуть не погибли из-за своей трусости! Вы использовали любую возможность, чтобы потянуть время!

В жизни всегда выпадает несколько моментов истины.

Редких, конечно! В жизни рядового Альбера Майяра наступает второй такой момент. В двух словах концентрируется вся его убежденность:

– Это несправедливо.

Отличная фраза, попытка объяснить, генерал Морье мог бы в раздражении смести ее одной левой, но тут... он опускает голову. Похоже, думает. Прадель теперь разглядывает слезу

на кончике носа Альбера, тот, застыв навывтяжку, не может ее утереть. Капля позорно свешивается, покачивается, удлиняется, не решаясь упасть. Альбер шумно шмыгает носом. Капля дрожит, но не отрывается. Зато шмыганье выводит генерала из оцепенения.

– Однако ваш послушной список вовсе не плох... Не понимаю! – заключает он, с беспомощным видом пожимая плечами. (*Что-то происходит, но что?*) – Лагерь в Майи, – читает генерал. – Марна... М-да... – Он склоняется над бумагами.

Альберу видны лишь его седые редеющие волосы и отсвечивающая розовым кожа головы.

– Ранен на Сомме... м-да... а еще на Эне! Санитар, м-да, ах...

Он качает головой, как попугай, угодивший под дождь.

Капля на носу Альбера, наконец решив упасть, шлепается на пол, что рождает у него озарение: это все шутка.

Генерал нахально издевается над ним.

Нейроны Альбера выверяют территорию, историю, настоящий момент, ситуацию. Когда генерал поднимает на него глаза, Альбер уже знает все ясно, вывод власти предрешающей не становится для него сюрпризом.

– Майяр, я приму во внимание ваши боевые заслуги.

Альбер шмыгает носом. Прадель выдерживает прямое попадание. Он пошел на риск, привлек к делу генерала, это могло сработать. Если бы удалось, то он избавился бы от Альбера – неудобный свидетель. Но дело приняло неудачный оборот – мода на расстрелы прошла. Проигрывать Прадель умеет. Он опускает голову, скрывая нетерпение.

– А в семнадцатом вы, старина, неплохо проявили себя, – вновь вступает генерал. – Но тут...

Он с огорченным видом пожимает плечами. Чувствуется, что в его мозгу все смешалось. Для военного нет ничего хуже, чем конец войны. Ему, генералу Морье, приходится искать решение, ломать голову, но следует признать очевидное: несмотря на то что это явный случай дезертирства, за несколько дней до заключения Перемирия приказ о расстреле оправдать невозможно. Уже не актуально. Никто не допустит этого. Это даже приведет к противоположным результатам.

Жизнь Альбера зависит от сущей малости: его не расстреляют, потому что нынче это уже не в ходу.

– Спасибо, господин генерал! – чеканит Альбер.

Морье воспринимает эти слова фаталистически. Благодарить генерала – в прежние времена практически означало бы оскорбить его, но тут...

Проблема разрешена. Морье уныло машет рукой, какое поражение! Можете идти.

Но тут на Альбера находит. Поди знай, что его укусило. Он только что проскочил в миллиметре от расстрела, и, похоже, ему этого недостаточно.

– Я хотел бы ходатайствовать, господин генерал, – продолжает Альбер.

– В самом деле? О чем?

Забавно, но генералу по душе такой ход с ходатайством. В нем нуждаются, стало быть, он, генерал, еще зачем-то нужен. Он поднимает бровь, вопрошая и подбадривая. Лейтенант Прадель – рядом с Альбером, – кажется, напряженно выпрямляется и затвердевает, словно изменился сплав металла, из которого он отлит.

– Господин генерал, я хочу ходатайствовать о расследовании.

– Ах, вот те на! Расследование! И по какому поводу, черт побери?

Потому что хоть генерал и любит ходатайства, он терпеть не может расследований. Типичный военный.

– Это касается двух солдат.

– И что же эти солдаты?

– Они погибли, господин генерал. И было бы неплохо узнать, как именно.

Морье хмурится. Ему не нравятся подозрительные смерти. На войне нужна недвусмысленная, героическая и неопровержимая смерть, кстати, по той же причине раненых терпят, но на самом деле не любят.

– Погодите-погодите... – блеет Морье. – Прежде всего, кто эти парни?

– Рядовой Гастон Гризонье и рядовой Луи Терье. Господин генерал, мы бы хотели знать, как они умерли.

Это «мы» звучит чертовски нагло, у Альбера так вышло само собой. В конце концов, у него есть кое-что в запасе.

Морье взглядом вопрошает Праделя.

– Господин генерал, это те двое, что пропали без вести на высоте сто тринадцать, – отвечает лейтенант.

Альбер ошарашен.

Он ведь видел их на поле боя – мертвых, конечно, но целых, он даже перевернул того, что старше, и прекрасно разглядел два пулевых отверстия.

– Это невозможно...

– Господи боже, вам ведь сказали, что они пропали без вести! А, Прадель? – резко бросает Морье.

– Пропали, господин генерал! Точно так.

– Так вот, – изрыгает старший по званию, – не будете же вы доставать нас этими без вести пропавшими, а?!

Это не вопрос, это приказ. Он разъярен.

– Что это еще за чушь! – ворчит Морье себе под нос. Но ему все же необходима поддержка. – А, Прадель? – вдруг спрашивает он.

Генерал берет лейтенанта в свидетели.

– Так точно, господин генерал! Не стоит доставать нас этими без вести пропавшими!

– Вот! – заключает генерал, переводя взгляд на Альбера.

Прадель тоже смотрит на Майяра. Неужто по лицу этого ублюдка ползет тень улыбки?

Альбер капитулирует. Сейчас ему хочется лишь одного: чтобы кончилась война и он поскорее вернулся в Париж. Целым-невредимым, если возможно. Он вдруг вспоминает об Эдуаре. Он быстро салютует старому хрычу (он не только не щелкнул каблуками, но едва не приложил согнутый указательный палец к виску, будто рабочий, который, закончив смену, спешит домой), избегая встретиться взглядом с лейтенантом, и вот он уже несется по коридорам, охваченный скверным предчувствием, какие могут возникнуть лишь у родителей.

Совсем запыхавшись, он с размаху распахивает дверь в палату.

Эдуар лежит в той же позе, но, заслышав шаги Альбера, он просыпается. Пальцем указывает на окно рядом с кроватью. В палате и вправду воняет так, что кружится голова. Альбер приоткрывает окно. Эдуар не отрывает от него глаз. Раненый настаивает: шире, делает знак: нет, притвори, чуть шире, Альбер, повинуюсь, шире открывает створку, и когда до него доходит, в чем дело, уже слишком поздно. Эдуар пытается шевелить языком, а вместо этого издает какое-то урчание; теперь он видит себя в стекле.

Взрывом снаряда ему снесло всю нижнюю челюсть; ниже носа пустота, видны горло, гортань, небо и верхние зубы, ниже только месиво ярко-красной плоти, а в глубине нечто напоминающее голосовые связки, языка нет, есть лишь алое влажное отверстие пищевода...

Эдуару Перкуру двадцать три года.

Он теряет сознание.

## 6

На следующий день около четырех утра, когда Альбер было отвязал его, чтобы сменить простыни, Эдуар попробовал выброситься из окна. Но, вставая с постели, потерял равновесие, так как правая нога не вынесла тяжести тела, и рухнул на пол. Невероятным усилием воли он сумел подняться – он был похож на призрак. Хромая, он с трудом дотащился до окна – глаза вытаращены, руки вытянуты вперед – с воплем страдания и боли, Альбер сжал его в объятиях, тоже рыдая и глядя его по затылку. Альбер чувствовал, как в нем пробуждается материнская нежность к Эдуару. Большую часть времени Альбер пытался говорить с другом, чтобы скрасить ожидание.

– Генерал Морье, – рассказывал он, – он, видишь ли, изрядный придурок. Генерал как-никак. Он уже собирался поставить меня перед военным советом! А Прадель, этот ублюдок...

Альбер говорил без умолку, но взгляд Эдуара был настолько угасшим, что было невозможно определить, понимает ли он, что ему говорят. Так как доза морфина постепенно снижалась, теперь он подолгу бодрствовал, что лишало Альбера возможности лишний раз сходить разузнать, что слышно об этом треклятом санитарном транспорте, который все еще не прибыл. Застонав, Эдуар уже не останавливался, голос его звучал все громче и громче, пока не прибежала медсестра, чтобы сделать еще один укол.

На следующий день, вскоре после двенадцати, когда Альбер вновь вернулся несолоно хлебавши, так и не узнав, планируется ли прибытие транспорта или нет, – Эдуар был смертным воем, он жестоко страдал, открытое горло было воспаленно-красным, а кое-где видны были нагноения, запах становился все более непереносимым.

Альбер тотчас выскочил из палаты и понесся в кабинет медсестер. Ни души. Он крикнул в коридоре: «Эй, кто-нибудь?!» Никого. Он было развернулся, собираясь уйти, но внезапно остановился. Потом направился назад к кабинету. Нет, он не посмеет. Или все же? Он выглянул в коридор, направо, налево, вопли товарища до сих пор отдавались в ушах, это помогло ему решиться и выйти в комнату, он давно знал, где что лежит. Достал ключ из правого ящика, открыл застекленный шкафчик. Шприц, спирт, ампулы морфина. Если его застукают, все будет кончено, кража медикаментов в военном госпитале, на него стала наплывать рожа генерала Морье вместе со зловещей тенью лейтенанта Праделя... Но кто поможет Эдуару? – с тревогой подумал он. Однако никого не было видно, взмыленный Альбер выкатился из кабинета, прижимая к животу добычу. Он не знал, правильно ли поступил, но эта боль была невыносимой.

Первый укол был делом нешуточным. Он нередко помогал медсестрам, но когда нужно действовать самому... Смена постели, зловонный запах, а теперь уколы... не так-то просто помешать парню выброситься из окна, думал он, готовя шприц; подтирать раненого, дышать зловонием – во что он ввязался?

Он блокировал входную дверь, подставив спинку стула под ручку двери, чтобы исключить нежелательное вторжение. Процедура прошла вполне неплохо. Альбер хорошо рассчитал дозу, она должна была позволить Эдуару продержаться до инъекции, которую потом сделает медсестра.

– Вот увидишь, скоро станет гораздо лучше.

И вправду, Эдуару полегчало. Он расслабился, задремал. Но даже во время его сна Альбер продолжал говорить с ним. И размышлять насчет куда-то запропастившегося транспорта. Он пришел к выводу, что нужно вернуться к истокам: отправиться в отдел кадров.

– Когда ты спокоен, – пояснил он Эдуару, – мне совсем не хочется этого делать, ты же знаешь. Но поскольку я не уверен, что ты будешь вести себя разумно...

Он скрепя сердце привязал Эдуара к кровати и вышел.

Покинув палату, Альбер огляделся и двинулся, прижимаясь к стенам, почти бегом, чтобы Эдуар оставался один как можно меньше.

– Это просто шутка года! – сказал тип.

Его звали Грожан. Отдел кадров представлял собой комнатенку с крошечным оконцем, стеллажи сгибались под тяжестью папок, перетянутых тесемками. Здесь же стояли два стола, заваленные бумагами, списками, рапортами. За одним из столов сидел капрал Грожан с подавленным видом.

Он открыл толстую конторскую книгу, провел по строке порыжевшим от никотина пальцем и пробурчал:

– Ты представить себе не можешь, сколько тут раненых!..

– Могу.

– Что – могу?

– Могу себе представить.

Грожан поднял голову от ведомости и пристально посмотрел на него. Альбер понял, что допустил ошибку и нужно ее как-то выправлять, но Грожан уже вновь погрузился в бумаги, занятый поиском.

– Черт, мне знакомо это имя...

– Ну разумеется, – сказал Альбер.

– Ну да, само собой, но кто он, черт по...

Вдруг он воскликнул:

– Вот!

Сразу было видно, что капрал одержал победу.

– Перикур, Эдуар! Я знал, что он здесь! Точно! Я так и знал!

Он повернул конторскую книгу к Альберу, указывая толстым пальцем на низ страницы. Хотел доказать, что он прав.

– И что? – спросил Альбер.

– Ну вот, твой приятель зарегистрирован. – Он подчеркнул слово «зарегистрирован». В его устах это звучало как приговор. – Что я тебе говорил! Я его запомнил! В конце концов, я, черт побери, еще не впал в маразм!

– И что?

Тип зажмурился от радости. Потом вновь открыл глаза.

– Он зарегистрирован здесь, – (постучал пальцем по списку), – а потом ему был выписан ордер на перевозку.

– И куда затем передается этот ордер?

– В службу тыловых перевозок: это они распоряжаются санитарными машинами...

Альберу придется вернуться в отдел перевозок. Он там был уже дважды, но не нашел ни ведомости, ни ордера – никакого документа на имя Эдуара, просто с ума можно сойти. Он взглянул на часы. Придется отложить новый визит, пора вернуться к Эдуару и дать ему воды, врач рекомендовал побольше пить. Альбер было повернулся к выходу, но спохватился. Черт, подумал он. А что, если...

– Это ты относишь ордера в отдел перевозок?

– Да, – подтвердил Грожан. – Или тот, кого присылают за ними, раз на раз не приходится.

– А ты не помнишь, кто относил ордер на имя Перикура? – спросил Альбер, хотя уже знал ответ.

– Да, точно помню! Лейтенант. Не знаю его имени.

– Такой высокий, подтянутый...

– Точно.

– ...синие глаза?

- Ага.
- Подонок.
- Этого я не могу утверждать.
- Зато я могу... А сколько времени потребуется, чтобы выписать другой ордер?
- Это называется «дубликат».
- Ладно, дубликат, так долго его делать?

Грожан был в своей стихии. Он придвинул чернильницу, воздел перьевую ручку к потолку и произнес:

- Считай, сделано.

В палате воняло гниющей плотью. Эдуара в самом деле нужно было срочно перевозить в больницу. Стратегия Праделя почти увенчалась успехом. Стереть их с лица земли. Альберу удалось ускользнуть от трибунала, но перспектива оказаться на кладбище становилась для Эдуара реально опасной. Еще несколько часов – и он начнет гнить заживо. Лейтенант Прадель не слишком жаждал иметь кучу свидетелей собственного героизма.

Альбер собственноручно доставил дубликат ордера в службу перевозок.

Не раньше чем завтра, ответили ему.

Отсрочка казалась ему нескончаемой.

Молодой врач, который наблюдал за Эдуаром, только что покинул госпиталь. И еще никто не знал, кто его заменит. Были другие хирурги и лечащие врачи, но Альбер их не знал. Один из них мимоходом заглянул в палату, будто оно того не стоило.

– Когда его заберут? – спросил он.

– Должны забрать. Вышла задержка из-за ордера. На самом деле его внесли в список, но...

Врач тотчас перебил его:

– Когда? Потому что дело принимает такой оборот...

– Мне сказали, что завтра...

Врач скептически устремил взор в потолок. Он был из тех, кто кое-что повидал. Он покачал головой, все было ясно. Но этим не кончилось, он повернулся к Альберу и похлопал его по плечу.

– И проветрите палату, – сказал он, направляясь к двери, – здесь воняет!

На следующий день Альбер с самого рассвета предпринял осаду отдела перевозок. Главное, чего он опасался, – это попасться на глаза лейтенанту Праделю. Тот сумел помешать доставке Эдуара в тыл, и вообще был способен на все. Для Альбера лучше было бы не высываться – только это имело значение. И чтобы Эдуара увезли как можно скорее.

– Сегодня? – спросил он.

Парень из отдела относился к нему хорошо. Замечательно, когда вот так заботятся о своем товарище. Сколько таких, что плевать на всех готовы, кто заботится лишь о собственной шкуре, разве нет? К сожалению, не сегодня. Но завтра точно.

– Ты знаешь во сколько?

Парень долго копался в своих бумагах.

– Прости, приятель, я тут прикидывал, во сколько мест они должны заехать, – ответил он, не поднимая головы, – сантранспорт придет вскоре после полудня.

– Но это-то точно?

Альберу хотелось за это зацепиться – ладно, завтра так завтра, – но он и себя корил за то, что промедлил и не понял, в чем дело, пораньше. Сколько провозился. Эдуара бы уже доставили в тыловой госпиталь, будь у него друг малость посообразительнее.

Завтра.

Эдуар уже не спал. Обычно он, сидя в кровати, подпертый со всех сторон подушками, которые Альбер собрал в других палатах, часами раскачивался, непрерывно издавая болезненные стоны.

– Больно, да? – спрашивал Альбер.

Но Эдуар никогда не отвечал. А то не ясно!

Окно было постоянно приоткрыто. Альбер всегда спал у окна, сидя на стуле, вытянув ноги на соседний стул. Он помногу курил, чтобы не заснуть, оставив Эдуара без присмотра, но еще чтобы заглушить вонь.

– Ты-то теперь лишен обоняния, счастливчик...

Вот черт, а как же поступит Эдуар, если ему захочется смеяться? Тип, лишившийся челюсти, должно быть, нечасто испытывает желание хохотать, но все же этот вопрос донимал Альбера.

– Врач... – рискнул он начать.

Было два или три часа ночи. Сантранспорт должен был прибыть днем.

– Он говорит, что там таким ставят протезы...

Альбер не слишком отчетливо представлял, что даст протез нижней челюсти, и не был уверен в том, что завел речь об этом в подходящий момент.

Но это сообщение, похоже, заставило Эдуара очнуться. Он покачал головой, издавая звуки, напоминавшие рокот воды, нечто вроде бульканья. Он сделал Альберу знак; тот впервые заметил, что Эдуар левша. Вспомнив о блокноте с набросками, он наивно удивился, каким образом Эдуару удалось сделать такие рисунки левой рукой.

Конечно же, давно надо было предложить ему рисовать.

– Тебе нужен твой блокнот?

Эдуар посмотрел на него, да, он хотел, чтобы ему дали блокнот, но вовсе не затем, чтобы рисовать.

Как забавно – такая сцена среди ночи. Глубокий, выразительный взгляд Эдуара, такой живой и дико напряженный на этом одутловатом лице, посередине которого зияла пустота. Аж страшно. На Альбера он произвел сильное впечатление.

Пристроив блокнот на кровати, Эдуар неловко выводит крупные буквы, он так слаб, он будто разучился писать, карандаш, кажется, движется, повинуюсь собственной воле. Альбер смотрит на буквы, вылезающие за пределы страницы. Он готов провалиться в сон, все это чересчур затянулось. Эдуар пишет одну-две буквы, невероятное усилие, Альбер пытается угадать слово, старается изо всех сил, еще буква, потом еще одна, и даже когда получается слово, то до сообщения еще куда как далеко, нужно вычитать из этого смысл, а на это уходит куча времени, а Эдуар, силы которого на исходе, резко сдает. Но не проходит и часа, как он вновь приподнимается, вновь берет блокнот, словно его толкает на это необходимость. Альбер встряхивается, встает со своего стула, зажигает сигарету – надо же проснуться – и вновь включается в игру с загадками. Буква за буквой, слово за словом.

И вот уже около четырех утра до Альбера доходит:

– Так ты не хочешь возвращаться в Париж? Но куда же ты поедешь?

В ход вновь идет карандаш. Эдуар в лихорадочном возбуждении терзает свой блокнот. Буквы градом сыплются на бумагу, огромные до неузнаваемости.

– Успокойся, – говорит Альбер, – не тревожься, мы все проясним.

Но он в этом не уверен, потому что это, похоже, чертовски сложно. Он упорствует. В проблесках рассвета возникает подтверждение, что Эдуар не желает возвращаться домой. Это так? Эдуар выводит в блокноте «да».

– Но это нормально! – разъясняет Альбер. – Поначалу не хочется, чтобы тебя видели в таком состоянии. Нам всем чуть-чуть стыдно, это всегда так. Смотри, вот я, ну когда получил

эту пулю на Сомме, клянусь, я вдруг подумал, что моя Сесиль отвернется от меня! Но твои родные тебя любят и не перестанут любить из-за того, что тебя ранило на войне, не волнуйся!

Но вместо того чтобы успокоить, эта болтовня окончательно возбудила Эдуара, всплески в его горле слились в непрерывный каскад, он так порывался встать, что Альберу пришлось снова привязать его. Эдуар малость поутих, но по-прежнему был возбужден, даже обозлен. Он резко выхватил блокнот из рук Альбера, будто срывая скатерть со стола во время спора. Он опять взялся за свои упражнения в каллиграфии, Альбер закурил новую сигарету, тем временем обдумывая ситуацию.

Если Эдуар не желает, чтобы близкие видели его в таком состоянии, то это, вероятно, потому, что там есть своя Сесиль. Отречься от нее выше человеческих сил, это Альбер прекрасно понимал. Он осторожно попытался переубедить друга.

Эдуар, не отрываясь от бумаги, отмел его доводы, мотнув головой. Нет никакой Сесиль.

Но у него есть сестра. Потребовалась масса времени, чтобы понять, что там с сестрой. Прочсть ее имя невозможно. Бог с ним, это, по сути, не так важно.

К тому же дело было вовсе не в сестре.

Впрочем, не важно, каковы мотивы Эдуара, нужно попытаться его урезонить.

– Я тебя понимаю, – начал Альбер. – Но вот увидишь, что с протезом все будет совсем иначе...

Эдуар разнервничался, боли возобновились, он бросил свои попытки писать и завыл как сумасшедший. Альбер терпел сколько мог, хотя силы его были на исходе. Он сдался и ввел Эдуару новую дозу морфина. Тот впал в забытье: за несколько дней морфина в нем поднакопилось. Если он из этого выкарабкается, значит у него просто стальной организм.

Полуночью, когда Эдуару меняли постель и кормили (Альбер вводил каучуковый зонд в пищевод, как ему показывали, а потом через воронку очень медленно, чтобы желудок не отторг пищу, вливал бульон), раненый вновь возбудился, хотел встать, без конца метался, Альбер уже не знал, какому святому ставить свечку. Эдуар взял блокнот, начирикал несколько букв, таких же неразборчивых, как накануне, и постучал карандашом по странице. Альбер попытался разобрать написанное, но ничего не вышло. Он нахмурился, что это: «Е»? «В»? И вдруг взорвался – не мог больше.

– Слушай, дружище, здесь я ничего не могу поделать! Ты не хочешь возвращаться к своим, не понимаю почему, но это в любом случае не мое дело! Да, это прискорбно, но только я здесь ничем не могу помочь, вот!

Тогда Эдуар схватил его за руку и стиснул ее со страшной силой.

– Эй, больно! – вскрикнул Альбер.

Эдуар вонзил ногти. Чертовски больно. Но давление ослабло, и вскоре обе руки Эдуара обхватили плечи друга, он прижался к нему и разрыдался, изредка вскрикивая. Альбер как-то слышал подобные крики. Обезьянки в матросских костюмчиках, катавшиеся в цирке на велосипеде, стонали так, что их становилось жалко до слез. Глубокое, душераздирающее горе. То, что случилось с Эдуаром, было настолько необратимым, что, с протезом или без него, он никогда не будет прежним...

Альбер говорил простые слова: поплачь, дружище. Только и остается, что твердить подобный вздор. Эдуару в его несчастье нельзя было ни помочь, ни успокоить.

– Ты не хочешь возвращаться к себе, это я понимаю, – сказал Альбер.

Он почувствовал, как голова Эдуара склонилась, и он уткнулся в шею Альбера, нет, возвращаться он не хочет. Он повторял: нет-нет! Не хочет.

Прижимая его к себе, Альбер подумал, что за всю войну Эдуар, как все остальные, мечтал лишь о том, чтобы выжить, а теперь, когда война закончена и он остался в живых, он думает лишь о том, как бы исчезнуть с лица земли. Куда уж дальше, если даже у выживших нет иного стремления, кроме как умереть!..

На самом деле Альбер теперь понимал: у Эдуара не осталось сил, чтобы покончить с собой. Конец. Если бы в первый день он смог выброститься из окна, все бы встало на свои места; страдание и слезы, время, бесконечное будущее – все бы закончилось здесь, во дворе военного госпиталя, но этот шанс был упущен, теперь у Эдуара не хватит духу; итак, он приговорен жить.

И это по вине Альбера, все по его вине с самого начала. Все. Он был угнетен этим, едва не плакал. Какое одиночество! В жизни Эдуара Альбер теперь стал всем. Единственной надеждой. Молодой человек уполномочил Альбера распоряжаться его жизнью, доверил ее, потому что больше не мог ни нести этот груз в одиночку, ни сбросить его.

Альбер был сражен, потрясен.

– Ладно, – пробормотал он. – Я посмотрю...

Он сказал это не подумав, но Эдуар тотчас поднял голову, будто его ударило током. Это почти уничтоженное лицо – ни носа, ни рта, ни щек, – только дикий пылающий взгляд, пронизывающий насквозь. Альбер угодил в ловушку.

– Я посмотрю, – тупо повторил он, – я как-нибудь все устрою.

Эдуар сжал его руки и закрыл глаза. Потом медленно опустился на подушки. Спокойный, но страдающий, он хрипел, и кровавые пузыри выдувались из трахеи.

Я все устрою.

Альберу в жизни постоянно случалось сболтнуть лишнее. Сколько раз, увлекшись, он обрекал себя на поступки, имевшие бедственные последствия? Ответ простой: столько же раз, сколько сожалел о том, что не дал себе времени поразмыслить. Обычно Альбер становился жертвой своей щедрости, порыва, однако его неосторожные обещания до сих пор касались вещей не слишком существенных. Но нынче совсем другое дело: речь шла о человеческой жизни.

Альбер гладил руки Эдуара, смотрел на него, стараясь убаюкать.

Это ужасно, но ему никак не удавалось вспомнить лицо того, кого называли просто Перикур, – постоянно отпускавшего шуточки смешливого парня, который вечно что-то рисовал; он видел перед собой лишь его профиль и спину, перед той атакой на высоту 113, но лицо – никак. А ведь Перикур тогда обернулся, но ему никак не вспомнить – воспоминание было полностью поглощено теперешним видом: зияющая окровавленная дыра, отчего Майяр пришел в отчаяние.

Его взгляд упал на лежавший на одеяле блокнот. Он вдруг мгновенно понял слово, которое ему не удавалось прочесть.

«Отец».

Слово затянуло в водоворот. Его собственный отец уже давно был всего лишь пожелтевшим снимком на буфете, но, попытавшись посетовать на его раннюю кончину, он понял, что при живом отце все, должно быть, обстоит куда сложнее. Альберу было важно узнать, понять, но поздно: он ведь обещал Эдуару, что «посмотрит». Альбер уже не помнил, что он имел в виду. И вот, сидя у постели засыпающего товарища, он размышлял.

Эдуар хочет исчезнуть, допустим, но как это сделать, когда речь идет о живом солдате? Альбер ведь не лейтенант, он об этом понятия не имеет. У него нет ни малейшего представления, как к этому подступиться. Может, нужно придумать какую-то новую личность?

Скорость – это не по части Альбера, но ему, как бухгалтеру, нельзя отказать в логике. Если Эдуар хочет исчезнуть, думал Альбер, стало быть, ему нужно дать имя мертвого солдата. Совершить подмену.

И решение тут было лишь одно.

Отдел кадров. Кабинет капрала Грожана.

Альбер прикинул последствия такого поступка. Тому, кто чудом избежал военного трибунала, предстоит подделать документы, принести в жертву живых и воскресить мертвых.

На этот раз точно расстрел. Не думать об этом.

Эдуар, измученный и обессиленный, только что заснул. Альбер бросил взгляд на настенные часы, поднялся и открыл шкаф.

Он залез в вещмешок Эдуара и достал его военную книжку.

Скоро полдень, через четыре минуты, три, две... Альбер устремляется вперед, вновь проходит по коридору, следуя вдоль стены, стучит в дверь кабинета и входит, не дожидаясь ответа. Над заваленным бумагами столом Грожана без минуты двенадцать.

– Привет, – говорит Альбер.

Звучит нарочито жизнерадостно. Но когда на часах почти полдень, с такой стратегией мало шансов на успех – желудок-то пустой. Грожан ворчит. И зачем он появился в этот раз, да еще в такой час? Сказать спасибо. Грожан сражен на месте. Он уже оторвал задницу от стула и собирался захлопнуть ведомость, но «спасибо» он не слышал с начала войны. Он даже не знает, как реагировать.

– Да ну не за что...

Альбер лезет на амбразуру, добавляя еще ложечку меда:

– Твоя идея с дубликатом... Правда спасибо, моего кореша отправят сегодня после обеда.

Грожан приходит в себя, встает, вытирает ладони о штаны в чернильных пятнах. Он, конечно, польщен, но как-никак уже полдень. Альбер переходит в наступление:

– Я разыскиваю еще двух приятелей...

– А-а...

Грожан надевает китель.

– Не знаю, что с ними стало. То говорят, что они пропали без вести, то – что они были ранены и их отправили в тыл...

– Ну, вряд ли мне что-то известно!

Грожан направляется к двери, проходя мимо Альбера.

– Может, в ведомостях... – робко подсказывает Альбер.

Грожан распахивает дверь.

– Приходи после обеда, глянем вместе.

Альбер удивленно таращит глаза с видом человека, которого вдруг осенило:

– Если хочешь, я могу поискать, пока ты будешь есть!

– А, нет, у меня приказ, не могу!

Он выталкивает Альбера, закрывает дверь на ключ и останавливается. Альбер тут лишний. Он говорит, спасибо, пока, и удаляется по коридору. Сантранспорт за Эдуаром прибудет через час или два. Альбер заламывает руки, черт, черт, черт, твердит он, подавленный собственным бессилием.

Проходит несколько метров, тут же спохватывается, оборачивается. Грожан все еще в коридоре, смотрит ему вслед.

Альбер направляется к выходу во двор, у него мелькает одна мысль. Он представляет, как Грожан стоит перед дверью своего кабинета, выжидает. Выжидает, но чего? Не додумавшись, Альбер разворачивается и идет по коридору твердым шагом – во всяком случае, он надеется, что твердым, – действовать нужно быстро. Доходит до двери, но тут в коридоре какой-то военный, Альбер застывает, это лейтенант Прадель, по счастью, тот проходит мимо, не повернув головы, и скрывается из виду. Альбер переводит дух, слышен шум чьих-то шагов, несколько человек, смех, крики, голоса людей, идущих в столовую. Альбер останавливается перед кабинетом Грожана, проводит рукой по верхнему наличнику, нащупав ключ, берет его, вставляет в замочную скважину, поворачивает, открывает, входит и тотчас закрывает за собой дверь. Он прислоняется к ней, как тогда к стенке воронки от снаряда. Перед ним ведомости. Тонны ведомостей. От пола до потолка.

В банке ему часто приходилось иметь дело с подобными архивами – папки со стертыми ярлыками и выцветшими от времени рукописными чернильными пометками. Тем не менее ему потребовалось около двадцати пяти минут, чтобы отыскать нужный реестр. Альбер был встревожен, ничего не мог с этим поделать, то и дело поглядывал на дверь, ему казалось, что она вот-вот откроется. Он понятия не имел, что говорить в этом случае.

К половине первого ему удалось собрать три взаимодополняющих реестра. На каждом пестрели различные резолюции, устаревшие распоряжения; с ума сойти, как быстро все обрабатывает формальностями. Еще минут двадцать ушло, чтобы найти нужные имена, и вот тут – что типично для него – он заколебался. Будто выбор здесь имел хоть какое-то значение... Возьму первое попавшееся имя, подумал он. Взглянул на часы и на дверь, и то и другое, казалось, увеличилось в размерах, они уже почти не умещались в комнате. Он подумал об Эдуаре, который лежит там один, привязанный...

Двенадцать сорок две.

Перед ним лежал список тех, кто умер в госпитале и о ком еще не успели сообщить семьям. Последняя дата – 30 октября.

Боливе Виктор. Родился 12 февраля 1891 года. Убит 24 октября 1918 года. Сообщить родителям в Дижон.

В этот момент в нем возобладали не столько угрызения совести, сколько необходимость принять все меры предосторожности... До Альбера дошло, что он теперь полностью отвечает за товарища и не может творить бог весть что, как для себя. Нужно действовать эффективно и надлежащим образом. Итак, если он наделяет Эдуара личностью погибшего солдата, то этот солдат вновь оживает. Следовательно, родители будут его ждать. Требовать новостей. Проведут расследование, и будет нетрудно проследить цепочку событий. Альбер покачал головой, представив себе последствия и для Эдуара, и для себя, если их уличат в подделке и использовании фальсифицированных документов (и явно в куче других преступлений, о которых он даже не подозревает).

Альбера пронизала дрожь. Он и до войны реагировал так же: стоило ему испугаться, его будто пробивал озноб. Он посмотрел на часы, время шло быстро, он стиснул руки над реестром. Перелистнул несколько страниц.

Дюбуа Альфред. Родился 24 сентября 1890 года. Умер 25 октября 1918 года. Женат, двое детей, семья живет в Сен-Пурсене.

Господи, что делать? Он, по сути, ничего не обещал Эдуару, он сказал, посмотрим, это не значит твердо обещать. Это... Альбер подыскивал слово, тем не менее продолжая переворачивать страницы.

Эврар Луи. Родился 13 июня 1892 года. Умер 30 октября 1918 года. Сообщить родителям в Тулузу.

Ну вот, он не думает как следует, не предвидит последствий, вечно бросается сломя голову, с самыми добрыми намерениями, а потом... Мать была права...

Гужу Констан. Родился 11 января 1891 года. Умер 26 октября 1918 года. Женат. Жена проживает в Морнани.

Альбер поднял глаза. Даже часы против него, они явно ускорили ритм, иначе как объяснить, что уже час. Две крупные капли пота упали на реестр, он поискал промокашку, взглянул на дверь, нет промокашки, перевернул страницу. Сейчас откроется дверь, и что он скажет?

И вдруг – вот оно.

Эжен Ларивьер. Родился 1 ноября 1893 года. Умер 30 октября 1918 года, накануне дня рождения. Эжену было двадцать пять, ну почти. Сообщить в дирекцию государственных больничных учреждений.

Альбер воспринял это как чудо. Никаких родственников, только госорганы, иными словами, сообщать некому.

Еще до этого он заметил коробки, где лежали военные билеты, ему потребовалось несколько минут, чтобы добраться до документов Ларивьера; какой-то порядок все же был. Пять минут второго. Грожан такой здоровый, дородный, пузатый, должно быть, любит набить брюхо. Не стоит терять голову, вряд ли он покинет столовку раньше часа тридцати. Тем не менее медлить нельзя.

К военному билету была прицеплена половинка личного знака, другая, видно, осталась на теле. Или ее прибили к кресту. Не важно. На фото Эжен Ларивьер выглядел обычным молодым человеком, как раз такое лицо, которое потом и не узнать, если снесло нижнюю челюсть. Альбер сунул военный билет в карман. Он вытащил еще два наугад и сунул в другой карман. Потеря военного билета – это происшествие, потеря нескольких – бардак, это даже вполне соответствует военному времени, стало быть сойдет более гладко. Схватив второй реестр, чернильницу, ручку с пером, Альбер сделал глубокий вдох, чтобы перестать дрожать, и вывел: *Эдуар Перикур* (посмотрел дату рождения, вписал ее и личный номер), добавил: *Убит 2 ноября 1918 года*. Он положил военный билет Эдуара в коробку к мертвым. Сверху. Вместе с половинкой личного знака, где были выбиты личные данные и регистрационный номер. Через неделю-другую семье сообщат, что их сын и брат пал на поле брани. Бланки есть повсюду. Остается лишь вписать имя погибшего, это просто и практично. Даже в плохо организованных войнах чиновники всегда шагают в ногу, рано или поздно.

Тринадцать пятнадцать.

Теперь уже быстро. Он видел Грожана за работой и знает, где находятся отрывные книжки. Он проверяет: в текущей книжке последний дубликат ордера выписан на транспортировку Эдуара. Альбер вытащил с самого низа стопки неначатую книжку. Никто не проверяет номера. Прежде чем обнаружится, что в отрывной книжке внизу стопки недостает бланка, война закончится, может, даже успеют затеять новую. Он мигом заполнил бланк дубликата ордера на транспортировку на имя Эжена Ларивьера. Поставив последний штампель, Альбер обнаружил, что весь взмок.

Он быстро сложил все реестры, бросил взгляд вокруг, чтобы убедиться, что не оставил следов, потом прижался ухом к двери. Все тихо, звуки доносятся откуда-то издалека. Он вышел, закрыл дверь, положил ключ на верхний наличник и ушел, прижимаясь к стене.

Эдуар Перикур только что умер за Францию.

А у Эжена Ларивьера, воскресшего из мертвых, отныне впереди долгая жизнь, чтобы об этом помнить.

Эдуар задыхался, он весь извертелся и перекатился бы с одного края постели на другой, если бы его лодыжки и запястья не были стянуты. Альбер сжимал его плечи, руки, говорил с ним непрерывно. Он ему рассказывал. Тебя зовут Эжен, надеюсь, тебе нравится имя, потому что на складе другого не было. Но для того чтобы рассмеяться, он... Альберу было по-прежнему интересно, что Эдуар предпримет позже, когда у него возникнет желание пошутить.

Наконец сбылось.

Альбер сразу это понял, во двор, нещадно дымя, въехал фургон и остановился. Привязать Эдуара он не успевал, Альбер метнулся к двери, стремглав скатился по лестнице и окликнул санитаря, который, зажав в руке бумагу, искал, к кому обратиться.

– Это насчет транспортировки раненого? – спросил Альбер.

Парень с облегчением кивнул, шофер фургона подошел к нему. Тяжело ступая, они поднялись по лестнице с носилками, где ткань была закреплена на двух жердях, и проследовали за Альбером в коридор.

– Предупреждаю, – сказал Альбер, – там воняет.

Здоровяк-санитар пожал плечами: мол, не привыкать. Он открыл дверь.

– И правда... – протянул он.

Действительно, даже Альбер, стоило ему выйти из палаты, по возвращении чувствовал, как от запаха гниения у него перехватывает дыхание.

Они разложили носилки на полу. Здоровяк, бывший за главного, опустил бумаги на изголовье и обошел вокруг кровати. Медлить было нечего. Один берется за ноги, другой поддерживает голову, и на счет три...

Раз – приготовились.

Два – приподняли.

Три – в тот момент, когда санитары подняли раненого, чтобы водрузить его на носилки, Альбер схватил дубликат, лежавший на изголовье, и заменил его на ордер Ларивьера.

– У вас есть морфин, чтобы сделать ему укол?

– Не дрейфь. У нас есть все, что нужно, – сказал тот, что пониже.

– Эй, – добавил Альбер, – вот его военный билет. Даю отдельно, понимаешь, на случай, вдруг вещи потеряются.

– Не дрейфь, – повторил второй, беря документ.

Они спустились к выходу и проследовали во двор. Эдуар покачивал головой, глаза были устремлены в пустоту. Альбер поднялся к нему в фургон и склонился над ним:

– Давай, Эжен, держись, все будет в порядке, вот увидишь.

Ему хотелось заплакать. Сзади санитар сказал:

– Слушай, кореш, нам пора ехать!

– Да-да, – кивнул Альбер.

Он сжал руки Эдуара. Стало быть, это ему и запомнится: пристально устремленные на него глаза Альбера, на которые в этот миг навернулись слезы.

Альбер поцеловал его в лоб:

– До скорого, да? – Он вылез из фургона и, перед тем как захлопнулась дверца, бросил: – Я приеду тебя навестить!

Альбер поискал платок, поднял голову. В раме открытого окна на третьем этаже лейтенант Прадель наблюдал за этой сценой, в задумчивости доставая свой портсигар.

Тем временем машина тронулась с места.

Выезжая со двора госпиталя, она выбросила черный дым, повисший в воздухе как заводская гарь, за занавесой которого скрылся кузов фургона. Альбер повернулся к зданию. Прадель исчез. Окно на третьем этаже было закрыто.

Порыв ветра развеял выхлопные газы. Двор опустел. Альбер чувствовал, что и внутри у него тоже пустота и отчаяние. Он шмыгнул носом, похлопал по карманам в поисках носового платка.

– Черт, – сказал он.

Он забыл положить Эдуару его блокнот с рисунками!

В последующие дни в голове Альбера зародилось новое беспокойство, не дававшее ему спать. Если бы погибшим был он, то хотел бы, чтобы Сесиль получила официальное извещение, иначе говоря, формуляр, где бы вот так сообщалось, что он мертв, и все, ни убавить ни прибавить? О матери говорить не будем. Какую бы официальную бумагу та ни получила, она в подобном случае щедро оросит ее слезами, а потом повесит на стенку в гостиной.

Вопрос, стоит или нет извещать семью, терзал его с тех пор, как на дне вещмешка он нашел военный билет, украденный, когда он подыскивал Эдуару новые документы.

Там значилось: Эввар Луи, родился 13 июня 1892 года.

Альбер уже не помнил дату смерти рядового Эввара; в последние дни войны, но когда? Однако он помнил, что следовало предупредить родителей, живущих в Тулузе. Должно быть, у этого парня был тамошний выговор. Через несколько недель или месяцев, так как никто не найдет его следа, а его военного билета не будет, его сочтут пропавшим без вести, с Эвваром

Луи все будет кончено. Когда в свой черед скончаются и его родители, кто вспомнит, что был такой Эввар Луи? Неужто мало было всех этих погибших и без вести пропавших, чтобы Альберу пришлось выдумать еще одного? А бедные родители, обреченные оплакивать пустоту?..

Возьмите, с одной стороны, Эжена Ларивьера, с другой – Луи Эврара, а между ними поставьте Эдуара Перикюра, вручите все это солдату вроде Альбера Майяра, и вы погрузите его в безмерную печаль.

О семье Эдуара Перикюра он не знал ровно ничего. Согласно документам, они проживали в шикарном квартале, вот и все. Но в шикарном или нет – на смерть сына это никак не влияет. Зачастую об этом событии родные узнавали из письма товарища, так как чиновники, так торопившиеся отправить его на смерть, теперь вовсе не спешили предупредить родных о его кончине...

Альбер вполне мог составить такое письмо, он думал, что сумеет подыскать слова, но ему было нелегко избавиться от мысли, что все это ложь.

Сказать людям, которым предстоит пережить такое горе, что их сын мертв, когда он жив. Что делать? С одной стороны, ложь, с другой – угрызения совести. Решение подобной дилеммы может занять недели.

Перелистывая блокнот, он наконец решился. Он держал его на тумбочке у кровати и часто разглядывал. Эти рисунки сделались частью его жизни, но сам блокнот ему не принадлежал. Его следовало вернуть. Он самым тщательным образом выдрал оттуда последние страницы, которые несколько дней назад служили им с Эдуаром разговорной тетрадью.

Он знал, что не слишком хорошо умеет формулировать. И все же как-то утром он принялся писать.

*Мадам, месье,*

*меня зовут Альбер Майяр, я товарищ вашего сына Эдуара, и я с глубокой скорбью сообщаю вам, что 2 ноября он погиб в бою. Командование пошлет вам официальное извещение, а я могу вас заверить, что он погиб как герой, атакуя врагов, чтобы защитить Родину.*

*Эдуар оставил мне для вас блокнот с рисунками и просил передать его, если с ним что-нибудь случится. Вот он.*

*Будьте уверены, он покоится с миром на маленьком кладбище, где лежит рядом с другими товарищами, могу вас заверить, что было сделано все необходимое, чтобы ему там было хорошо.*

*Я...*

## 7

*Эжен, мой дорогой товарищ...*

Поскольку никто не знал, существует ли еще цензура, вскрывают ли письма, читают, бдят, на всякий случай Альбер принимал меры предосторожности и называл Эдуара его новым именем. К которому Эдуар, впрочем, привык. Такой поворот был даже забавным. Хотя ему не слишком хотелось думать об этих вещах, Несмотря на это, воспоминания всплывали.

Он знал двух парней по имени Эжен. Первый – в младшем классе, тощий мальчишка с веснушками, его было не видно, не слышно, но значение имел вовсе не этот, а другой. Они встретились на курсах рисунка, которые Эдуар посещал втайне от родных, они много времени проводили вместе. Вообще, Эдуару много чего приходилось делать тайком. К счастью, у него была Мадлен, его старшая сестра, она всегда все устраивала, по крайней мере то, что можно было устроить. Эжен и Эдуар, будучи любовниками, вместе готовились к поступлению в Школу изящных искусств. Эжен был не так ярко одарен, и его не приняли. Потом они потеряли друг друга из виду, а в 1916-м Эдуар узнал о его смерти.

*Эжен, мой дорогой друг,  
поверь, я очень ценю твои весточки, но, видишь ли, уже четыре месяца  
ты шлешь только рисунки, никогда ни словечка, ни фразы... Верно, ты не  
любишь писать, это я могу понять. Но...*

Рисовать было куда проще, так как тут не надо слов. Была бы его воля, он вообще бы не отвечал, но этот парень, Альбер, так старался, он сделал все, что от него зависело. Эдуар ни в чем его не упрекал... Разве что... ну чуть-чуть. Короче, именно из-за того, что спас ему жизнь, Эдуар и оказался в таком положении. Он пошел на это по собственной воле, но – как сказать – он не мог выразить то, что чувствовал, – несправедливость... В этой несправедливости никто не был виноват и все же виноваты все. Но если обвинять кого-то конкретно, то, если бы рядовой Майяр не умудрился дать погresti себя заживо, он, Эдуар, вернулся бы домой целым. Когда в сознании всплывала эта мысль, он плакал, не в силах сдержаться, ну... это заведение вообще было обителью слез.

Когда на миг отступали боль, тревога, страдание, их сменяли навязчивые образы, и вместо лица Альбера появлялось лицо лейтенанта Праделя. Эдуар ничего не понял в этой истории с вызовом к генералу, с трибуналом, которого едва удалось избежать... Цепочка событий развернулась накануне транспортировки, когда его разум был притуплен обезболивающими, и оставшийся от нее след был неясным, испещренным провалами. Зато совершенно четким был профиль лейтенанта Праделя, который стоял неподвижно под градом пуль, глядя себе под ноги, затем он отошел, а потом обрушилась стена земли... Хотя Эдуар не понимал почему, для него не было сомнений, что Прадель причастен к тому, что произошло. Тут вскипел бы кто угодно. Но тогда Эдуар сумел собрать все свое мужество на поле боя и откопать товарища, а теперь он был совершенно опустошен. Мысленные образы выглядели как плоские далекие картинки, которые имели к нему лишь косвенное отношение, и здесь не было места ни гневу, ни надежде.

Эдуар был жутко подавлен.

*...и, уверяю тебя, не всегда легко понять твою жизнь. Мне неизвестно,  
есть ли ты досыта, разговаривают ли с тобой врачи хоть немного, надеюсь,  
да, и заходит ли наконец речь о пересадке, как мне говорили, впрочем я тебе  
писал об этом.*

История с пересадкой... Речь об этом уже не шла. Альбер ни о чем не догадывался, его видение ситуации было чисто теоретическим. Все эти недели ушли лишь на то, чтобы установить различные инфекции и «подлатать» Эдуара – выражение профессора Модре, рыжего весельчака, у которого энергия била через край; профессор возглавлял госпиталь Роллен на авеню Трюден. Он оперировал Эдуара шесть раз.

– Мы с вами, можно сказать, весьма сблизились!

И каждый раз детально разяснял причины хирургического вмешательства, ограничения, говорил, какое место занимает данная операция в общей стратегии. Недаром он стал военным врачом, это был человек, наделенный несокрушимой верой в медицину, – плод сотен ампутаций и резекций, сделанных на передовой, днем и ночью, порой прямо в окопах.

Не так давно Эдуару наконец позволили посмотреть на себя в зеркало. Конечно, для медсестер и врачей, которым достался пациент, чье лицо представляло собой сплошную рану, где за кровоточащей плотью остались только язычок, начало трахеи и невероятным образом уцелевший ряд зубов, – для всех них нынешний Эдуар являл весьма обнадеживающую картину. Они вели оптимистические разговоры, но их удовлетворение проделанной работой бывало начисто сметено безмерным отчаянием, в которое были повергнуты те, кто впервые обнаруживал, что с ними стало.

Отсюда речи о будущем. Существенно важные для морального духа пострадавшего. За несколько недель до того, как поставить Эдуара перед зеркалом, Модре начал исполнять один и тот же куплет:

– Запомните следующее: то, как вы выглядите сегодня, не имеет ничего общего с тем, как вы будете выглядеть завтра.

Он напирал на слово «ничего», и это было громадное «ничего».

Профессор затрачивал массу энергии, так как чувствовал, сколь ничтожно его воздействие на Эдуара. Конечно, это была убийственная война, превосходившая все мыслимые пределы, но если взглянуть на все это с оптимистической стороны, то война помогла существенно двинуть вперед челюстно-лицевую хирургию.

– Я бы даже сказал, весьма существенно!

Эдуару демонстрировали механические челюсти, гипсовые головы, снабженные стальными стержнями, различные приборы средневекового вида – последнее слово ортопедического искусства. По сути, это были приманки, так как Модре, будучи мудрым стратегом, предпринял осаду Эдуара, чтобы наилучшим образом подвести его к тому, что являлось лейтмотивом всех его терапевтических предложений:

– Пересадка Дюфурмантеля!

У вас предварительно вырезали ленты кожи с головы, а затем пересаживали их на нижнюю часть лица.

Модре показал ему несколько снимков таким образом подлатанных раненых. Ну вот, думал Эдуар, дайте военному врачу типа с физиономией, совершенно покоренной другими военными, и он вернет вам вполне презентабельного гнома.

Ответ Эдуара был краток.

Большими буквами в своей разговорной тетради он просто написал: НЕТ.

Тогда, несмотря на то что эта идея, как ни странно, была ему не по душе, Модре упомянул о протезах. Вулканит, легкий металл, алюминий – медицина располагает всем необходимым, чтобы создать для раненого новую челюсть. А для щек... Эдуар не стал ждать продолжения; схватив толстую тетрадь, он вновь написал: НЕТ.

– Как – нет? – спросил хирург. – Нет чему?

– Нет всему. Я останусь как есть.

Модре с понимающим видом кивнул, показывая, что он все понимает; в первые месяцы с подобной реакцией сталкивались довольно часто: отказ – воздействие посттравматической

депрессии. Со временем это проходило. Даже те, кто лишился лица, рано или поздно начинают вести себя разумно – такова жизнь.

Но и четыре месяца спустя, после тысячи настоятельных просьб и в тот момент, когда все остальные – все без исключения – согласились отдаться в руки хирургов, чтобы уменьшить ущерб, рядовой Ларивьер продолжал упорно отказываться: я останусь как есть.

При этом глаза упрянца были застывшими, стеклянными.

Призвали психиатров.

*Ладно, в то же время благодаря твоим рисункам, думаю, я все же понял главное: палата, где ты лежишь сейчас, кажется больше и просторнее, чем прежняя, да? Там, во дворе, это что – деревья? Я, конечно, не буду утверждать, что тебе следует радоваться, что ты там, но, видишь ли, я не знаю, что можно для тебя сделать отсюда. Я чувствую себя ужасно бессильным.*

*Спасибо за изображения монашки Мари-Камиллы.*

*До сих пор ты ухитрялся показывать мне ее лишь со спины или в профиль, понимаю, почему ты хотел сохранить ее для себя, старый шалопай! Она очень мила. Признаюсь, что если бы у меня не было моей Сесиль...*

На самом деле никаких монашек в этом заведении не было, все медсестры были штатские – очень доброжелательные женщины, всюю проявлявшие сострадание. Но надо же было что-то рассказать Альберу, который строчил ему по два письма в неделю. Первые рисунки Эдуара были довольно неумелыми, рука его дрожала, да и видел он неважно. Помимо того что одна операция следовала за другой, он все время страдал от боли. Альбер решил, что распознал в едва намеченном профиле «юную монахиню». Монахиня так монахиня, подумал Эдуар, без разницы. Он окрестил ее Мари-Камиллой. Благодаря письмам он составил какое-то представление об Альбере и теперь пытался придать этой воображаемой послушнице черты, которые должны были ему нравиться.

Хотя их связывало пережитое, где у каждого на кону стояла его жизнь, эти двое толком не были знакомы, и их отношения осложняла неясная смесь мук совести, солидарности, обиды, отстраненности, горьких воспоминаний и братства. Думая об Альбере, Эдуар проникался смутной злобой, впрочем существенно смягченной тем фактом, что его товарищ сумел найти для него новые документы, избавив от возвращения домой. Он понятия не имел о том, кем будет теперь, когда больше не является Эдуаром Перикуром, но предпочел бы любую участь, только бы в своем нынешнем состоянии не наткнуться на взгляд отца.

*Кстати, о Сесиль. От нее пришло письмо. Для нее конец войны тоже выдался слишком долгим. Мы писали друг другу о том, как хорошо проведем время, когда я вернусь, хотя по тону ее письма я почувствовал, как ее все это утомило. Поначалу она навещала мою мать гораздо чаще, чем теперь. Я едва ли могу винить ее за то, что она делает это редко, я ведь говорил тебе о своей матери – это та еще особа.*

*Тысячу раз благодарю тебя за голову лошади. Я изрядно донимал тебя этой головой... Теперь, мне кажется, вышло здорово и очень выразительно: эти выпученные глаза на рисунке, приоткрытый рот. Знаешь, это глупо, но я нередко гадаю, как звали эту клячу. Будто необходимо дать ей имя.*

Сколько же он их нарисовал, этих лошадиных голов, для Альбера?.. Опять слишком узкая, повернуть на эту сторону, нет, точно, на другую... как тебе сказать, нет, каждый раз это выглядело не совсем так. Любой другой на месте Эдуара послал бы его подальше, но он чувствовал, как важно для друга вспомнить и сохранить в памяти голову коняги, которая, быть может, спасла ему жизнь. За этим требованием крылась иная сложная и глубокая задача,

касавшаяся его, Эдуара, – задача, которую ему не удавалось облечь в слова. Он впрягся в эту работу, делал десятки эскизов, стремясь следовать бестолковым указаниям Альбера, которые тот, страшно извиняясь и рассыпаясь в благодарностях, выдавал в каждом письме. Эдуар уже хотел сдаться, когда припомнил голову лошади, набросанную Леонардо красной сангиной, кажется, для конной статуи, и взял ее за образец. Альбер, получив рисунок, подпрыгнул от радости.

И только читая эти слова, Эдуар наконец понял, в чем было дело.

Теперь, когда товарищ наконец получил пресловутую голову лошади, Эдуар отложил карандаш и решил больше не возвращаться к этому занятию.

С рисованием покончено.

*Здесь время тянется бесконечно. Представляешь, Перемирие заключили в прошлом ноябре, теперь уже февраль, а нас все еще не демобилизовали! Уже несколько недель мы здесь больше не нужны... Нам наговорили кучу всякой всячины, чтобы объяснить положение, но как знать, что правда, а что нет. Здесь, как на фронте, слухи распространяются куда скорее, чем новости. Похоже, парижане скоро будут вместе с «Пети журнал» отправляться на экскурсии по полям сражений под Реймсом, что не мешает нам по-прежнему гнить заживо в условиях, которые, как и мы, становятся все хуже и хуже. Порой, клянусь тебе, порой думаешь, не лучше ли было под картечью, по крайней мере, нам хотя бы казалось, что мы что-то делаем, чтобы выиграть войну. Эжен, мне стыдно, что я жалуюсь тебе на свои болячки, ты, должно быть, думаешь, что я не сознаю своего счастья и, находясь здесь, еще и плачусь. И будешь совершенно прав, все же какие мы иногда эгоисты.*

*Судя по тому, как скомкано мое письмо (никогда не умел излагать логично, и в школе было то же самое), я думаю, может, лучше было бы рисовать!..*

Эдуар написал доктору Модре, что отказывается от любой пластической операции, какой бы она ни была, и потребовал, чтобы его незамедлительно выписали из госпиталя.

– С такой-то физиономией?!

Врач был в ярости. Держа в правой руке письмо Эдуара, левой он твердо удерживал его перед зеркалом.

Эдуар долго смотрел на вспученную магму, под которой угадывал утраченные, будто скрытые вуалью, черты некогда знакомого ему лица. Части плоти складывались в твердые молочно-белые подушки. Дыра посередине лица, частично уменьшенная за счет натягивания тканей, представляла собой нечто вроде кратера, казавшегося более далеким, чем прежде, но по-прежнему рдевшего кроваво-красным. Это выглядело так, будто в цирке человек-змея сумел полностью заглотив его щеки и нижнюю челюсть, но потом не смог извергнуть это все обратно.

– Да, – подтвердил Эдуар, – с этой самой физиономией.

## 8

Здесь стоит постоянный гомон. Тысячи солдат прибывают, проходят, вновь возвращаются, застревают надолго, скапливаются, смешиваются в неопишемом хаосе. Центр демобилизации забит до отказа; люди должны демобилизовываться по несколько сотен волна за волной, но никто не знает, как это обеспечить, отовсюду сыплются приказы, организация все время меняется. Недовольные, изнуренные солдаты хватаются за любую информацию, тотчас, как прилив, поднимается крик, звучащий почти угрожающе. Капралы и унтер-офицеры размашистым шагом рассекают толпу, раздраженно бросая в пустоту: «Я знаю ровно столько, сколько вы, что вы хотите, чтобы я вам сказал?!» В этот момент звучит свисток, все поворачивают голову, по толпе прокатывается раздражение, это какой-то тип орет вдалеке: «Документы? Да черт побери, какие документы?!» – и другой голос: «Эй, как это, военный билет?» Рефлекторно каждый хлопает себя по нагрудному карману или по заднему карману брюк, переглядываются: «Уже четыре часа, как мы здесь, черт побери, в конце концов!» – «Хорош жаловаться, я здесь уже три дня торчу!» Другой спрашивает: «Где, ты сказал, есть армейские ботинки?» – «Да там, вроде остались только большие размеры» – «Ну и что теперь?» Тип взвизгивает от возмущения. Он всего лишь рядовой первого класса. И он говорит с капитаном как с наемным служащим. Он чертовски зол и повторяет: «Ну и что теперь?» Офицер погружается в список в поисках фамилии. Первый класс, вспыльчивый тип, поворачивается на каблуках, бурча что-то себе под нос, можно различить лишь слово «дерьмо». Капитан будто не слышит, весь красный, рука дрожит, но кругом столько народу, что даже это уносит толпа, и слова исчезают как пена, а тут уже два типа награждают друг друга ударами кулака по плечу, споря. Говорю тебе, это моя бляха! – вопит первый. Ну, черт побери, как бы не так! – отвечает второй, но сразу сдается и уходит; он еще попытается добиться своего, начнет сначала; что ни день кого-нибудь обворывают, надо бы открыть специальное бюро по такому поводу – в соответствии с типом ходатайства, говорите, невозможно, вы только представьте?! Как раз это твердят парни, стоящие в очереди за супом. Суп едва теплый. Не то чтобы остыл, а просто теплый. Ничего не понятно: кофе горячий, суп холодный. Такой привозят. Когда не стоят в очереди, то пытаются навести справки. (Но когда же будет поезд на Максон, он же есть в расписании?! – настаивает некий тип. Ну да, в расписании есть, только сюда не доехал. Что ты хочешь, чтобы я тебе в конце концов сказал?)

Вчера наконец отбыл эшелон в Париж, сорок семь вагонов, способных вместить полторы тысячи человек, туда втиснули больше двух тысяч, на это стоило посмотреть, спрессованы как сардины в банке, но счастливы. При посадке побили стекла, прибывшие на станцию офицеры заговорили об «ущербе», парням пришлось сойти с поезда, к уже имевшимся десяти часам опоздания добавился еще час, в конце концов состав тронулся, кругом горланили все – и те, кто уезжал, и те, кто оставался. И когда об эшелоне напоминал лишь дымок над сельскими равнинами, толпа двинулась вперед, искали кого-нибудь способного ответить, остались все те же вопросы: какую часть демобилизуют, каков порядок, господи боже, неужто нет того, кто отдает приказы?! Да, но какие приказы и кому приказывать? Никто ничего не понимает. Ждем. Половина солдат спят вповалку на земле, укрывшись шинелями, в окопах и то было больше места. Ну ладно, это нельзя сравнивать, здесь нет крыс, однако тем не менее есть блохи, твари, которых ты несешь на себе. Ты даже не можешь написать семье, когда придешь домой, жаловался солдат – задубевший старик с потухшим взглядом; его сетования отдавали обреченностью. Думали, подадут дополнительный состав, и он прибыл, только, вместо того чтобы забрать триста двадцать парней, ожидавшихся отправки, он доставил еще пару сотен новых, которых непонятно куда девать.

Капеллан попытался пройти через ряды солдат, разлегшихся на земле, его толкнули, кофе из чашки выплеснулся, паренек поглядел на него и в шутку заметил: надо же, а Боженька не слишком к вам добр! Капеллан стиснул зубы и попытался пристроиться на скамейке, кажется, собирались принести еще скамьи, но когда – никто не знал. А пока те, что есть, берут приступом. Капеллану удалось сесть только потому, что парни подвинулись; если бы это был офицер, его бы послали подальше, но священник...

Толчея не слишком хорошо сказывалась на Альбере, на нервах Альбера. Он был судорожно напряжен двадцать четыре часа в сутки. Было невозможно как-то пристроиться, чтобы тебя не толкали или же ты не толкал других. Гам и крики его жутко травмировали, он то и дело подскакивал и оглядывался. Порой казалось, что закрываются некие люки, и вокруг него внезапно стихал шум толпы, сменяясь глухим отзвуком, сдавленным, как подземные взрывы.

Его состояние усугубилось, когда в глубине зала он увидел капитана Праделя. Он стоял, твердо расставив ноги – излюбленная поза; держа руки за спиной, он обозревал прискорбное зрелище с суровостью человека, которого коробит убожество окружающих, однако глубоко не задевает. Вспомнив о нем, Альбер поднял взгляд и с тревогой посмотрел на толпившихся вокруг солдат. Он не хотел сообщать Эдуару об этом, о капитане Праделе, но у него создалось впечатление, что тот вездесущ, как злой дух, что он все время витает где-то поблизости, готовый ринуться на него.

*Ты был прав, может, это все-таки эгоистично. Судя по тому, как скомкано мое письмо...*

– Альбер!

*Видишь ли, у нас всех мозги изрядно набекрень. Когда мы...*

– Альбер, черт побери!..

Старший капрал схватил его за плечо, разъяренно потрянул, указывая, что его вызывают. Альбер поспешно сложил разрозненные листки и помчался, на ходу подбирая в спешке свои вещи, прижимая к себе бумаги, пробираясь среди истомленных ожиданием солдат, выстроившихся в затылок.

– Ты не слишком похож на свою фотографию...

Жандарму было лет сорок с хвостиком (тугой округлый живот, почти пузо, – спрашивается, как ему удавалось прокормить это пузо на протяжении этих четырех лет?), вид самодовольный и недоверчивый. Тип, наделенный чувством долга. Это самое чувство – сезонный продукт. К примеру, со времени Перемирия этот продукт в большом ходу. К тому же Альбер был легкой добычей. В драку больше не полезет. Жаждет вернуться домой. Хочет выспаться.

– Альбер Майяр... – повторяет жандарм, крутя военный билет.

Еще немного – и он начал бы разглядывать его на просвет. Он явно сомневался, глядя на лицо Альбера и утверждаясь в собственном выводе: не похож на фото. В то же время сделанный четыре года назад снимок поблек и потерялся... по сути, подумал Альбер, для такого поблекшего и потрепанного типа, как я, это даже не так плохо. Но должностное лицо имело на этот счет другое мнение, оно разглядывало рядового Майяра вовсе не с этой точки зрения. За последнее время жандарм повидал немало мошенников, жуликов и прохвостов. Качая головой, он переводил взгляд с билета на лицо Альбера.

– Это снято еще до войны, – отважился вставить Альбер.

Насколько лицо рядового казалось чиновнику подозрительным, настолько слова «еще до войны» были для него ясны. Для всех за словами «до войны» стоял кристально ясный образ. Но все же...

– Ну да, – вновь заговорил он, – Альбер Майяр, это пожалуйста, только у меня теперь два Майяра.

– Два Альбера Майяра?

– Нет. Два раза «А. Майяр», а «А» – это, может быть, Альбер.

Жандарм возгордился таким выводом, подчеркивавшим его проницательность.

– Да, – сказал Альбер, – а может быть, Альфред. Или Андре. Или Алкид.

Жандарм покосился на него и зажмурился, словно жирный кот:

– Так почему это не может быть Альбер?

Да, против столь убедительной гипотезы Альбер ничего не мог возразить.

– А где он находится, этот другой Майяр? – спросил он.

– В этом-то и проблема: он убыл позавчера.

– И вы разрешили ему ехать, не узнав его имени?

Жандарм смежил веки: как утомительно разъяснять столь простые вещи!

– Имя, конечно, было, а теперь нет, так как бумаги вчера были отправлены в Париж. Тех, кто отправлен, я просто регистрирую в ведомости, и здесь, – он решительно ткнул пальцем в колонку фамилий, – значится «А. Майяр».

– Стало быть, если не найдутся бумаги, мне придется продолжить воевать в одиночку?

– Если бы это зависело от меня, я бы тебя пропустил. Но ведь кому попадет, если я зарегистрирую не того человека? Меня просто разнесут в пух и прах, понимаешь?.. Ты не представляешь, сколько тут всяких проныр! С ума сойти, сколько вас сейчас таких, кто теряет документы! А если добавить тех, кто потерял свою сберкнижку, чтобы дважды получить компенсацию...

– И что в этом плохого? – спросил Альбер.

Жандарм нахмурился, будто вдруг сообразил, что перед ним большевик.

– Уже после того, как был сделан снимок, меня ранило на Сомме, – пояснил Альбер, чтобы разрядить обстановку. – Может, поэтому не похоже...

Жандарм, обрадованный возможностью выказать проницательность, стал сличать фото и лицо Альбера, пристально вглядываясь в фото, все быстрее переводя взгляд, и наконец заявил:

– Что ж, возможно.

И все же было понятно, что для окончательного решения чего-то не хватает. Стоявшие сзади солдаты начали проявлять нетерпение. Пока еще робкие возгласы предвещали бузу...

– В чем дело?

Этот голос пригвоздил Альбера к месту, он источал неприязненные волны, распространявшиеся, как змеиный яд. Альбер сперва различил лишь португеею. Он чувствовал, что его пробил дрожь. Не напустить бы в штаны.

– Ну, тут такое... – начал жандарм, протягивая военный билет.

Альбер наконец поднял голову и встретил, как удар кинжала, разящий светлый взгляд капитана д'Олнэ-Праделя. Та же темная шевелюра, пробивающаяся щетина, неприкрытое стремление лидировать. Прадель взял билет, не отрывая взгляда от Альбера.

– Этих Майяров у меня в ведомости двое... – продолжил объяснения жандарм, – а фотка что-то не похожа...

Прадель даже не взглянул на документ. Альбер потупился. Это было сильнее его, он не мог выдержать этот взгляд. Еще пять минут, и на кончике носа повиснет перламутровая капля пота.

– Этого я знаю, – отрезал Прадель. – Отлично знаю...

– Ах так, – вставил жандарм.

– Это и есть Альбер Майяр...

Прадель выдавал слова так медленно, словно ступал всем весом на каждый слог.

– Это, несомненно, тот самый.

Появление капитана разом утихомирило всех. Солдаты замолкли, словно началось лунное затмение. От этого Праделя прямо что-то исходило, умел он нагнать леденящий страх, просто инспектор Жавер.<sup>2</sup> У стражей ада, должно быть, такие лица.

*Я колебался, говорить ли тебе об этом, но все же решился: есть новости об О.-П. Представляешь, ему присвоили чин капитана! Получается, что на войне лучше быть подлецом, чем рядовым. Он здесь, командует отделом в центре демобилизации. Встреча с ним меня так пробила... Ты и представить не можешь, какие жуткие сны снятся мне с тех пор, как я опять с ним столкнулся!*

– Рядовой Майяр, мы ведь знакомы, не правда ли?

Альбер наконец поднял глаза:

– Да, господин лей... капитан. Мы знакомы...

Жандарм молчал, погрузившись в свои штампы и ведомости. В воздухе витало нечто зловещее.

– Мне особенно памятен ваш героизм, рядовой Майяр, – отчеканил Прадель с оскорбительно-высокомерной улыбкой.

Он смерил Альбера взглядом с ног до головы, остановившись на лице. Он никуда не спешил. Альберу казалось, что почва медленно уходит у него из-под ног, словно он погружается в зыбучие пески, и это паническое ощущение заставило его действовать.

– В этом и есть преимущество войны, – пробормотал он.

Повисла долгая пауза. Прадель вопросительно склонил голову.

– Каждый проявляет свою истинную суть, – с трудом выдавил Альбер.

Губы Праделя слегка растянулись в улыбке. В определенных обстоятельствах это была просто горизонтальная складка, которая всего лишь удлинялась, будто механически растягивалась. Альбер понял причину своего замешательства: капитан Прадель никогда не моргал, что придавало его взгляду пристальное жалающее выражение. У подобных животных слез не бывает, подумал Альбер. Он сглотнул слюну и потупился.

*Во сне я иногда его убиваю – протыкаю иттыком. Порой мне снится, что мы с тобой вместе, и тогда, уж поверь, ему приходится несладко. Иногда я стою перед трибуналом и все заканчивается расстрелом; по идее я должен отказаться от повязки на глаза, ну, выказать храбрость. Но все не так, я соглашаюсь, потому что в меня целится только он и при этом самодовольно мне улыбается... проснувшись, я какое-то время еще думаю, что убил его. Но, мысленно называя его имя, прежде всего я думаю о тебе, мой бедный друг. Знаю, что мне не следует говорить тебе об этом...*

Жандарм откашлялся.

– Ну, раз вы его знаете, господин капитан...

Вокруг все снова зашумели, сначала робко, потом все громче.

Альбер наконец поднял глаза. Прадель исчез, а жандарм уже снова склонился над ведомостью.

С самого утра в центре демобилизации все успели переругаться в непрерывном гомоне. Воздух постоянно вибрировал от криков и брани, но внезапно в конце дня это громадное агонизирующее тело оказалось во власти уныния. Окошки регистрации закрывались, старшие офицеры торопились на ужин, измученные младшие чины, сидя на вещмешках, по обыкнове-

<sup>2</sup> Инспектор Жавер – персонаж «Отверженных» В. Гюго, антагонист Жана Вальжана.

нию, дули на уже остывший кофе. Со столов чиновников были убраны бумаги. До следующего дня.

Те поезда, что не прибыли, уже не придут.

Быть может, завтра.

*Но ожидание – это как раз то, чем мы занимаемся с тех пор, как кончилась война. В конце концов, здесь почти как в окопах. У нас есть враг, которого мы не видим, но который давит на нас всей тяжестью. Мы зависим от него. Враг, война, администрация, армия – все это немножко похоже, вещи, в которых никто ничего не понимает и которые никто не может остановить.*

Вскоре наступила ночь. Те, кто уже поел, переваривали пищу, их клонило ко сну, вспыхивали огоньки сигарет. Утомленные жуткими дневными схватками за каждую малость, все вдруг стремились проявить терпение и щедрость; теперь, когда все успокоилось, укрывались одним одеялом, делились хлебом, если у кого остался. Снимали обувь; может, из-за освещения морщины обозначились глубже, все будто постарели, проникшись безразличием этих изнурительных месяцев и бесконечных хождений по инстанциям, казалось, ни за что не удастся развязаться с этой войной. Кое-где перебрасывались в карточки, на кон ставили солдатские ботинки чересчур маленького размера, которые не удалось обменять, кругом посмеивались, рассказывали байки. На сердце было тяжело.

*...Вот как она кончается, война, бедный мой Эжен. Громадное лежбище, где спят измученные люди, которых даже не могут нормально отправить домой. Никто не сказал нам ни слова или хотя бы не пожал руку. В газетах нам были обещаны триумфальные арки, а нас спрессовали в сараи без крыши, открытые всем ветрам. «Спасибо от всей души от признательной Франции» (я собственными глазами прочитал это в газете «Утро», клянусь, слово в слово!) превратилось в нескончаемые мытарства, нам отслонили по 52 франка выходного пособия и по слезинке выдают одежду, суп и кофе. Говорят, что мы воры...*

– Когда приеду домой, – говорит один, закуривая сигарету, – мне там закатят роскошный праздник...

В ответ ни слова. Похоже, в это трудно поверить.

– А ты откуда будешь? – спрашивают его.

– Из Сен-Вижье-де-Сулаж.

– А-а...

Никто и понятия не имеет, где это, но звучит приятно.

*Пожалуй, на сегодня хватит. Я помню о тебе, дорогой друг, очень хочу поскорее увидеться с тобой, это первое, что я сделаю по приезде в Париж, сразу после того, как встречу со своей Сесиль, тебе-то это понятно. Выздоровливай. Все же напиши мне, если сможешь, если нет – то или рисунки, это тоже здорово, я их все храню, кто знает?.. Когда ты станешь великим художником, я имею в виду, известным, может, тут и я разбогатею.*

*Крепко жму тебе руку,*

*Твой Альбер*

После долгой ночи, проведенной без ропота и жалоб, народ потягивался. День едва занялся, младшие офицеры уже с размаху приколачивали эвакуационные списки. Все ринулись к ним. Поезда были назначены на пятницу, через два дня. Два поезда на Париж. Все разыскивали свои имена, а также имена товарищей. Альбер терпеливо ждал своей очереди, его то толкали со всех сторон, то наступали на ногу. Ему удалось пробиться к спискам, проследить

пальцем по строчкам одного, потом второго листа, бочком протиснуться к третьему, и наконец – вот оно: Альбер Майяр, это я, ночной поезд.

Отправление в пятницу, в 22 часа.

Пока заполучишь штамп на транспортный квиток и доберешься на вокзал вместе со всеми парнями, надо будет выйти за час с лишним. Он хотел было написать Сесиль, но быстро одумался, это ни к чему. Ложных известий и без того было достаточно.

Альберу, как и остальным, полегчало. Даже если бы информацию опровергли или она вообще оказалась ложной, все равно было приятно.

Альбер поручил присмотреть за вещами одному парижанину, который писал письма, – хотелось немного пройтись по хорошей погоде. Дождь прекратился еще ночью, все гадали, не улучшится ли погода, каждый делал свой прогноз, поглядывая на облака. И утром – хоть людям и было о чем беспокоиться – каждый чувствовал, как же все-таки хорошо быть живым. Вдоль заграждений, которые поставили, чтобы обозначить границы лагеря, уже, как обычно, выстроились десятки солдат, чтобы почесать языками с местными, пришедшими поглазеть на происходящее, малышня, надеявшаяся потрогать винтовки, и посетители, о которых никто не знал ни откуда, ни как они здесь объявились. В общем, пришлый люд. Было забавно торчать у заграждений и говорить с обычными людьми. У Альбера оставался табак, он то и дело закуривал. Очень кстати, поскольку солдаты настолько устали, что подолгу лежали на спине, прежде чем подняться, найти чай или кофе было легче, чем днем. Альбер подошел к заграждению и долго стоял там, куря и потягивая кофе. Над головой стремительно неслись белые облака. Он дошел до выхода из лагеря, то там, то здесь перебрасываясь словцом с солдатами. Но он старался избежать новостей, решив спокойно дожидаться, когда его вызовут, бегать больше не хотелось, в конце концов его когда-нибудь да отправят домой. Сесиль в последнем письме дала ему номер телефона, по которому он мог бы сообщить день возвращения, как только будет знать. И с тех пор как он получил его, этот номер жег ему пальцы. Ему хотелось немедленно набрать цифры, поговорить с Сесиль, сказать, как ему не терпится вернуться, чтобы оказаться с ней, и столько еще всего, но по этому номеру можно было всего лишь оставить сообщение, скобяная лавка г-на Молеона на углу улицы Амандье. И вообще, для начала неплохо бы найти телефон, откуда позвонить. Тут уж быстрее получится сразу добраться до дому и нигде не останавливаться.

У ворот было много народу. Альбер позволил себе выкурить еще одну сигарету, тянул время. Жители городка крутились рядом, разговаривали с солдатами. Лица у них были грустные. Женщины разыскивали сыновей и мужей, протягивали фотографии, что тут скажешь, иголка в стоге сена! Отцы если и были, то держались поодаль. Только женщины старались изо всех сил, расспрашивали, продолжали свою молчаливую борьбу, каждое утро поднимаясь с надеждой, которая постепенно таяла. Мужчины уже давно ни во что не верили. Солдаты в ответ отвечали уклончиво, кивали, все снимки походили один на другой.

На плечо легла чья-то рука. Альбер обернулся, и тотчас прилив тошноты, сердце забило тревогу.

– А, рядовой Майяр! Я искал вас! – Прадель взял его под локоть и заставил идти. – Следуйте за мной!

Альбер больше не подчинялся Праделю, но поспешно пошел – вот он, эффект власти, – прижимая к себе вещмешок.

Они пошли вдоль заграждений.

Девушка была ниже их. Лет двадцать семь – двадцать восемь, не слишком красивая, подумал Альбер, но все же довольно симпатичная. На самом деле тут не поймешь. На ней была меховая куртка, кажется горностаи, Альбер не мог точно это определить; Сесиль однажды показывала ему шубы из такого меха – в витрине неприступного магазина; ему было досадно,

что он не мог войти в бутик и купить ей такую шубку. У молодой женщины была еще муфта и шапочка из того же меха, обрамлявшая лицо. В общем, из тех, у кого есть средства, чтобы одеваться просто и при этом не выглядеть бедной. Открытое лицо, большие темные глаза с лучиками мелких морщинок, темные длинные ресницы и небольшой рот. Нет, право, не красавица, но умеет подать себя. И потом, сразу ясно, женщина с характером.

Она была взволнована. Не снимая перчаток, она протянула Альберу листок бумаги, предварительно развернув его.

Чтобы скрыть смущение, он взял его и сделал вид, что читает, хотя какой смысл, он прекрасно знал, что ему дали. Официальное извещение. Его взгляд выхватил слова: «Умер за Францию», «вследствие ранений, полученных на поле боя...», «похоронен неподалеку».

– Мадемуазель интересуется судьба одного из ваших товарищей, убитого в бою, – холодно бросил капитан.

Молодая женщина протянула Альберу второй листок, он едва не выронил его, но вовремя подхватил, она тихо охнула.

Это был его почерк.

*Мадам, месье,  
я Альбер Майяр, товарищ вашего сына Эдуара, я с глубокой болью  
сообщаю, что он умер...*

Он вернул бумаги девушке, а та протянула ему замерзшую руку, рукопожатие было нежным и твердым.

– Меня зовут Мадлен Перикур. Я сестра Эдуара...

Альбер кивнул. Они с Эдуаром были похожи. Глазами. Никто не знал, как продолжить разговор.

– Мои соболезнования, – сказал Альбер.

– Мадемуазель рекомендовал отыскать меня генерал Морье... – объяснил Прадель, повернувшись к девушке, – который является большим другом вашего отца, не так ли?

Мадлен наклонила голову, подтверждая, но по-прежнему глядя на Альбера, у которого при упоминании Морье желудок откликнулся спазмом; он в тревоге гадал, чем это может закончиться, инстинктивно сжал ягодицы, сконцентрировавшись на мочевом пузыре. Прадель, Морье... Ловушка вот-вот захлопнется.

– На самом деле, – продолжил капитан, – мадемуазель Перикур хотела бы помолиться на могиле своего бедного брата. Но она не знает, где он похоронен...

Капитан д'Олнэ-Прадель нажал на плечо рядового Майяра, чтобы заставить его поднять глаза. Это выглядело как товарищеский жест. Мадлен капитан, должно было, показался очень человечным; этот мерзавец разглядывал Альбера с усмешкой, таившей угрозу. Альбер мысленно связал имя Морье с Перикуром, потом со словами «друг вашего отца»... Было нетрудно понять, что для капитана эти отношения и то, что он может оказаться полезным девице, куда важнее, чем открытие правды, которая была ему прекрасно известна. Он запер Альбера в его собственной лжи о смерти Эдуара Перикура, и достаточно было понаблюдать за его поведением, чтобы догадаться, что он не разожмет кулак, пока не сочтет, что хватит.

Мадемуазель Перикур в это время не просто смотрела на Альбера – она пристально вглядывалась в его лицо с безмерной надеждой, даже нахмурила брови, будто помогая ему заговорить. Он, не говоря ни слова, помотал головой.

– Это далеко отсюда? – спросила она.

Какой приятный голос! И так как Альбер ничего не ответил, капитан Прадель терпеливо повторил:

– Мадемуазель спрашивает вас, далеко ли отсюда кладбище, где вы похоронили ее брата Эдуара?

Мадлен адресовала капитану вопрошающий взгляд. Ваш солдат – он что, слабоумный? Он понимает, что ему говорят? Она сжимала письмо, то и дело переводя взгляд с капитана на Альбера и обратно.

– Довольно далеко... – отважился ответить Альбер.

Мадлен восприняла его слова с облегчением. «Довольно далеко» значило «не слишком далеко». И во всяком случае: я помню это место. Она вздохнула. Кто-то знает. Было понятно, что ей пришлось немало потрудиться, чтобы добраться сюда. Она не позволила прорезаться улыбке – повод был малоподходящий, – но сохраняла спокойствие.

– Вы могли бы объяснить, как туда добраться?

– Это... – поспешно ответил Альбер – это нелегко... Знаете, это равнина, и чтобы найти приметы...

– Так вы могли бы проводить нас туда?

– Сейчас? – с тревогой спросил Альбер. – Но это...

– О нет! Не сию минуту!

Этот ответ вырвался у Мадлен Перикур, и она тотчас об этом пожалела; закусив губу, она взглядом обратилась за поддержкой к капитану Праделю.

И тут произошла забавная вещь, всем вдруг стало ясно, куда это клонится.

Вырвалось слово, и все. Расклад переменился.

Прадель, как всегда, оказался быстрее всех:

– Понимаете, мадемуазель Перикур хочет помолиться на могиле своего брата.

Он сделал ударение на каждом слоге, словно у каждого был свой собственный смысл.

Помолиться? Ну-ну. Тогда почему не прямо сейчас?

К чему ждать?

Потому что, чтобы исполнить ее желание, требовалось время и, кроме того, большая осторожность.

Вот уже многие месяцы семьи требовали передать им останки солдат, похороненных на фронте. Верните наших детей. Но ничего не поделаешь. Они были повсюду. Весь север и весь восток страны были усеяны могилами, вырытыми наспех, потому что мертвые не могут ждать, они быстро гниют, не говоря уже о крысах. После Перемирия родные погибших подняли крик, но государство упорно отказывало. В то же время Альбер, задумавшись об этом, счел, что это логично. Если бы правительство допустило частные эксгумации солдат, то в несколько дней сотни, тысячи семей, вооруженных лопатами и кирками, перевернули бы полстраны, только представьте, что нужно выкопать и затем организовать перевозку тысяч разлагающихся тел, целыми днями переправлять транзитом гробы на вокзалы, перегружать их на поезда, которые только из Орлеана в Париж шли неделю, – нет, это невозможно. И следовательно, с самого начала это был отказ. Только вот семьям трудно было с этим согласиться. Война ведь окончена, они не понимали, настаивали. Правительство, со своей стороны, не могло даже провести демобилизацию и тем более не понимало, как можно организовать эксгумацию и транспортировку двухсот, трехсот или четырехсот тысяч трупов – точное число неизвестно... Вот ведь головоломка.

Так что семьи нашли прибежище в печали, родители ехали через всю страну, чтобы помолиться на могилах, вырытых в чистом поле, с трудом от них отрывались.

Это годилось для самых безропотных.

Потому что были и другие, бунтарские семьи, требовательные, упрямые, которые не желали верить байкам некомпетентного правительства. Эти действовали иначе. И именно такова была семья Эдуара. Мадемуазель Перикур ехала вовсе не затем, чтобы помолиться на могиле брата.

Она приехала за ним.

Чтобы выкопать тело и увезти его.

О таких историях рассказывали немало. Был даже подпольный бизнес, люди, которые этим занимались, достаточно было иметь грузовик, лопату и кирку, а также быть неробкого десятка. Место отыскивали ночью, работали быстро.

– Рядовой Майяр, так когда это возможно, – вновь заговорил капитан Прадель, – чтобы мадемуазель смогла помолиться на могиле своего брата?

– Завтра, если хотите, – глухим голосом выдавил Альбер.

– Да, завтра, – подхватила девушка, – превосходно. У меня будет машина. Как думаете, сколько времени придется добираться?

– Трудно сказать точно. Час или два... Может, больше... В каком часу вам удобно? – спросил Альбер.

Мадлен колебалась. И так как и капитан Прадель, и Альбер хранили молчание, она отважилась:

– Я заеду за вами вечером, часов в шесть. Годится?

Что тут скажешь?

– Вы хотите молиться ночью? – спросил Альбер.

Не удержался. Это было сильнее его. Подлый вопрос.

Он тотчас пожалел об этом, так как Мадлен потупилась. Однако ее нимало не смутил его вопрос, нет, она просчитывала ситуацию. Она была молода, но прочно стояла на земле. И потом, она была богата, это сразу чувствовалось, дорогой мех, шапочка, прелестные зубки, она обдумывала конкретную ситуацию, решая, сколько следует предложить этому солдату, чтобы заручиться его согласием.

Альбера передернуло от отвращения при мысли, что они думают, что он возьмет за это деньги... Она уже собиралась назвать сумму, но он ее опередил.

– Ладно, завтра, – сказал он.

Развернулся и пошел назад в лагерь.

## 9

*И поверь, мне очень жаль, что приходится еще раз возвращаться к этому... Все-таки нужно, чтобы ты действительно был уверен. Порой мы принимаем решения под влиянием гнева, разочарования или горя, получается, что эмоции берут над нами верх, ты понимаешь, о чем я. Не знаю, что можно было бы сделать теперь, но опять же можно что-то придумать... когда совершаешь какой-то поступок, нужно иметь путь к отступлению. Не хочу оказывать на тебя давление, но прошу: подумай о своих родных. Уверен, появишься ты перед ними такой, как сейчас, они по-прежнему будут любить тебя, если не еще сильнее. Твой отец, должно быть, смелый и преданный человек, представь, как он будет рад, узнав, что ты жив. Не хочу влиять на тебя. В любом случае все будет так, как ты решишь, и все же есть вещи, которые, как мне кажется, следует тщательно взвесить. Ты описывал мне свою сестру Мадлен, это хорошая девушка, подумай, как больно ей было узнать о твоей смерти и каким чудом было бы для нее теперь...*

Ни к чему было писать это. Письма будут идти не пойми сколько, может недели две или даже четыре. Жребий был брошен. Альбер писал обо всем этом для себя. Он не жалел, что помог Эдуару выдать себя за другого, но если он не пойдет до конца, то трудно представить, какие могут быть реальные последствия, Альбер лишь смутно догадывался, что довольно скверные. Он лег на пол, укрывшись шинелью.

Большую часть ночи он беспокойно ворочался с боку на бок, встревоженный тем, что предстояло.

Стоило забыться, ему снилось, что они откапывают тело и Мадлен Перикур тотчас становится ясно, что это не ее брат – слишком высокий или чересчур малорослый, порой у него было слишком узнаваемое лицо – лицо ветерана, а то в могиле был мужчина с головой мертвой лошади. Девушка брала его за руку и спрашивала: «Что вы сделали с моим братом?» К ней присоединился капитан д’Олнэ-Прадель, его синие глаза казались такими ясными, что освещали лицо Альбера, словно пламя факела. А голос принадлежал генералу Морье. «И в самом деле! – гремел он. – Рядовой Майяр, что вы сделали с ее братом?»

Один из этих кошмаров заставил его проснуться, едва забрезжил рассвет.

Почти весь лагерь еще спал, пока Альбер перебирал в темноте громадного зала эти образы, которые от тяжелого дыхания товарищей и дождя, барабанившего по крыше, с каждой минутой становились все более мрачными, тоскливыми и угрожающими. Он не жалел о том, что совершил, но был не в силах сделать больше. Воспоминание о девушке, сжимавшей в изящных пальцах письмо, пропитанное ложью, не выходило у него из головы. Разве это по-человечески – то, что он натворил? Но можно ли отменить это? Тут было столько же «за», сколько «против». В конце концов, подумал он, не поеду я откапывать трупы, чтобы покрыть обман, совершенный по доброте души! Или по душевной слабости, что одно и то же. Но если я не поеду, если признаюсь, то меня тотчас обвинят во всем. Альбер не знал, что ему грозит, он лишь понимал, что ситуация серьезная; все принимало пугающие размеры.

Когда наконец наступило утро, он все еще не пришел ни к какому выводу, бесконечно откладывая момент, когда придется решительно покончить с этой страшной дилеммой.

Пинок под ребра заставил его очнуться. Остолбенев от удивления, он поспешно сел. Зал уже наполнился криками и суетой. Альбер огляделся вокруг, совершенно растерянный, неспо-

собный собраться с мыслями, и внезапно увидел, как сверху спускается и упирается в его лицо суровый пронизывающий взгляд капитана Праделя.

Офицер долго пристально рассматривал его, потом, тяжело вздохнув, вlepил ему пощечину. Альбер инстинктивно вскинул руки, защищаясь. Прадель улыбнулся. Широкой улыбкой, которая не обещала ничего хорошего.

– Итак, рядовой Майяр, хорошенькие же вещи мы узнаем! Значит, ваш товарищ Эдуар Перикур мертв? Знаете, вот это был шок! Ведь когда я его видел в последний раз... – он нахмурил брови, словно перебирая воспоминания, – право, это было в госпитале, куда его только что доставили. И в тот самый момент он проявлял все признаки жизни. Конечно, выглядел он не лучшим образом. Честно говоря, мне показалось, что лицо у него слегка осунулось. Он, похоже, хотел зубами остановить летящий снаряд, что неразумно, хоть бы со мной посоветовался... Но предположить в тот момент, что он на пороге смерти... нет, уверяю вас, рядовой Майяр, такое мне не пришло в голову. Однако нет никаких сомнений, что он действительно отдал концы, и вы даже собственноручно написали письмо его родным, чтобы сообщить об этом, и в каком стиле, рядовой Майяр! В стиле, достойном лучших античных образцов!

Произнося «Майяр», он все время прегадким образом напирал на последний слог, что придавало звучанию имени издевательский и презрительный оттенок, так что «Майяр» превращалось в «дерьмо собачье» или что-то подобное.

Прадель заговорил тише, почти шепотом, будто он, будучи вне себя от ярости, пытался сдержаться:

– Я не знаю, что стало с рядовым Перикуром, и знать не хочу, но генерал Морье поручил мне помочь его родным, так что я поневоле полагаю...

Фраза, казалось, содержала некий вопрос. Но Альбер до сего момента не имел права вставить хоть слово, и капитан Прадель явно не собирался предоставлять ему право голоса.

– Тут одно из двух, рядовой Майяр. Либо мы говорим правду, либо покончим с этим делом. Если мы говорим правду, то вы попали в тот еще переплет: присвоение чужой личности; не знаю, как вам это удалось, но за решетку вы точно угодите, это тянет минимум лет на пятнадцать, гарантирую. С другой стороны, вы ведь возьметесь за старое и вытащите на свет это расследование о штурме высоты сто тринадцать... Короче, и для вас, и для меня это наихудшее решение. Остается другой вариант: от нас требуют мертвого солдата, мы им этого солдата даем, и кончено. Слушаю вас.

Альбер все еще переваривал первые фразы Праделя.

– Не знаю... – выдавил он.

В таких случаях мадам Майяр взрывалась: «Извольте радоваться, вылитый Альбер! Когда нужно принимать решение, вести себя по-мужски, тебя поминай как звали! Не знаю... Посмотрим... Наверное, да... Я спрошу... Альбер, давай! Решайся наконец! Если ты полагаешь, что в жизни...» и так далее.

Капитан Прадель был солидарен с мадам Майяр. Но принимал решения куда быстрее, чем она:

– Я вам скажу, что вы сделаете. Поднимете задницу и сегодня вечером выдате мадемуазель Перикур прелестный труп с табличкой «Эдуар Перикур», вы уразумели? Денек поработаете и ступайте себе с миром. Но решайте быстрее. А если вы предпочитаете тюрьму, то я к вашим услугам...

Альбер порасспросил товарищей, ему указали несколько военных захоронений. Сведения подтвердились: самое большое захоронение находилось в Пьервале, в шести километрах отсюда. Там у него будет больше выбора. Альбер отправился туда пешком.

На окраине леса были разбросаны десятки могил. Поначалу там пытались выдерживать линию, но потом война начала снабжать это кладбище таким количеством трупов, что по мере

наплыва всё пустили на самотек. Могилы располагались как попало, на одних были кресты, на других нет или же они обрушились. Тут значилось конкретное имя, там просто ножом на деревяшке нацарапано «рядовой». И таких десятки. Были еще могилы, где вниз горлышком были воткнуты бутылки с засунутой внутрь бумажкой с именем солдата – на случай, если позднее кто-то поинтересуется, кто здесь лежит.

На кладбище в Пьервале Альбер мог бы застрять на несколько часов, расхаживая между наспех вырытыми могилами, прежде чем выбрать одну из них, вечная его нерешительность, – но он понимал, что нужно торопиться. Там увидим, подумал он, уже поздно, а до центра демобилизации идти еще прилично, надо решать... Альбер повернул голову, увидел безымянный крест и подумал: вот эта.

Он вырвал несколько щепок, торчавших из перекладки, подобрал с земли камень и приколотил к кресту половинку личного идентификационного знака с именем Эдуара Перикюра, засек место, отступил на несколько шагов, чтобы оценить общий вид, как свадебный фотограф.

Потом он отвернулся, терзаемый страхом и муками совести, потому что лгать, пусть и по уважительной причине, было не в его характере. Он подумал о девушке, об Эдуаре, а еще о неизвестном солдате, которому по воле случая выпало перевоплотиться в Эдуара и которого теперь уже никто никогда не отыщет; до сих пор не опознанный рядовой исчезнет навсегда.

По мере того как Альбер удалялся от кладбища и подходил к демобилизационному центру, ему все больше казалось, что на него вот-вот посыплются неприятности, как костяшки домино, когда падение первой провоцирует неудержимый обвал. Все обошлось бы мирно, твердил себе Альбер, если бы она просто собиралась помолиться за упокой. Сестре нужна могила брата, стало быть, я ей представлю могилу, а уж брата или кого другого – не столь важно, пусть сердце подскажет. Но теперь, когда мы собираемся откапывать тело, все становится значительно сложнее. Кто знает, что обнаружится там, на дне ямы? Безымянная могила еще куда ни шло, покойник есть покойник. Но что мы найдем, когда его отроем? Какую-нибудь памятную вещицу, знак отличия? А может, просто-напросто тело окажется слишком длинным или коротким?

Но выбор был сделан. Он сказал: «Вот эта», и путь к отступлению теперь отрезан. Плохо это или хорошо. Альбер давно уже перестал рассчитывать на удачу.

Он добрался до центра, совсем выбившись из сил. Чтобы успеть на поезд – и речи не может быть об опоздании (если состав подадут), – необходимо вернуться самое позднее в двадцать один час. В демобилизационном центре уже царил волнение, сотни людей с блошиной живостью – вещи давно уже собраны – перекрикивались, пели, выли, хлопали друг друга по плечу. Чиновники, ведавшие отправкой, гадали, что будут делать, если обещанный эшелон не прибывает, как это случалось с каждым третьим поездом...

Альбер покинул барак. Остановившись на пороге, посмотрел на небо. Будет ли вечером достаточно темно?

Капитан Прадель был сама элегантность. Просто сердцеед. Форма отглажена, сапоги начищены, медали только что не отполированы. Несколько шагов – и вот он в десяти метрах от Альбера. Рядовой Майяр застыл на месте.

– Так что, старина, едем?

Было уже восемнадцать часов. За фургоном тихо ворчал мотор лимузина, едва слышно шуршали клапаны, нежный дымок выплывал из выхлопной трубы. Если продать всего лишь одну шину от этого авто, Альберу бы хватило на целый год. Он с грустью понял, что беден как церковная крыса.

У грузовика капитан не задержался, направился к машине, послышалось, как мягко хлопнула дверца. Девушка не показывалась.

Заросший щетиной, провонявший потом шофер сидел за рулем фургона, совершенно новенький «Берлье СВА» за тридцать тысяч франков. Похоже, доходное дело. Сразу было видно, что шофер проделывает такие штуки не в первый раз и доверяет лишь собственному суждению. Поверх опущенного стекла он пристально воззрился на Альбера, смерил его взглядом с ног до головы, а потом, открыв дверцу, прыгнул на землю и отвел его в сторонку. Он крепко вцепился в его руку, хватка та еще.

– Если едешь с нами, значит отвечать будем наравне, ясно тебе?

Альбер кивнул. Повернулся к лимузину, выхлопная труба по-прежнему исторгала белый, ласково обволакивавший дымок, господи боже, каким жестоким казался этот нежный выдох после всех этих лет прозябания.

– Скажи-ка, – шепотом спросил шофер, – сколько ты с них запросил?

Альбер понимал, что подобный тип вряд ли придет в восторг от бескорыстного поступка. Он быстро прикинул цифру:

– Три сотни франков.

– Ну и олух!

Однако в тоне шофера сквозило удовлетворение оттого, что он преуспел там, где другие лопухнулись. Он развернулся грудью к лимузину:

– Ты что, ослеп? Фифа вся в мехах, пукает в шелка! Мог содрать четыре сотни, легко! Даже пять!

Похоже, он собирался выложить, сколько выторговал сам. Однако осторожность перевесила, шофер выпустил руку Альбера:

– Ладно, идем, чё тянуть.

Альбер направился к грузовику, девушка так и не вышла, не знаю, чего он хотел, нет чтоб поздороваться, поблагодарить, так ничего подобного, он был наемный работник, подчиненный.

Он сел в машину, и грузовик тронулся. Лимузин двинулся следом, держась на расстоянии, оставляя за собой возможность обогнуть грузовик и уехать прочь, мол, ничего не знаю, в случае если грузовик остановят жандармы и начнут задавать вопросы.

Уже совсем стемнело.

Желтые фары грузовика освещали дорогу, но в кабине было трудно разглядеть даже собственные сапоги. Альбер уперся рукой в приборную панель, вглядываясь в местность через лобовое стекло. Он говорил «направо» или «сюда», боялся, что заблудится. И чем меньше оставалось до кладбища, тем страшнее ему становилось. Тогда он решил. Если дело обернется плохо, он рванет в лес. Шофер не станет меня догонять. Развернется и вернется в Париж, где его ждут следующие заказы.

Капитан Прадель – этот точно устремится в погоню, у этого ублюдка отличная реакция, что он не раз доказывал. Что же делать? – мучительно думал Альбер. Ему хотелось помочиться, он сдерживался изо всех сил.

Грузовик поднялся на последний холм.

Почти на самой обочине дороги начиналось кладбище. Шофер, поманеврировав, остановился у спуска. Когда придется двигаться в обратный путь, то, даже не заводя мотор вручную, достаточно будет отпустить тормоза, чтобы сдвинуться с места.

Мотор затих, установилось странное затишье, будто на вас накинута пальто. Капитан тотчас показался из лимузина. Шофер присмотрит за входом на кладбище. Тем временем нужно будет выкопать яму, извлечь гроб, дотащить его до грузовика, погрузить, и дело в шляпе.

Лимузин мадемуазель Перикур напоминал затаившегося в тени хищника, готового к прыжку. Девушка открыла дверцу и вышла. Совсем невеличка. Альберу она показалась еще более юной, чем накануне. Капитан жестом попытался удержать ее, но не успел вымолвить ни слова, она решительно сделала шаг вперед. Ее присутствие здесь в такой час было настолько нелепым, что мужчины лишились дара речи. Она резко мотнула головой, приказывая идти.

Все пошли.

Шофер нес две лопаты. Альбер тащил с собой скатанный здоровый кусок брезента, чтобы скидывать на него землю, – так потом можно будет быстро засыпать яму.

Ночь была не слишком темной, справа и слева виднелись бугорки могил, казалось, что ты попал на поле, изрытое громадными кротами. Капитан двигался размашисто. Рядом с мертвецами он всегда напускал на себя победительный вид. Следом, между Альбером и шофером, быстро шла девушка. Мадлен. Альберу нравилось это имя. Так звали его бабушку.

– И где это?

Они шли уже долго, одна дорожка, другая... Вопрос-то задал капитан. Он обернулся, явно нервничая. Говорил он шепотом, но интонация выдавала его раздражение. Ему хотелось покончить с этой историей. Альбер оглядывался, указывал куда-то, ошибался, пытался сориентироваться. Видно было, как он соображает, нет, не здесь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.